

ИЛ

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Густаво Эгурен

Окно на лужайку



41

Gustavo Eguren

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Густаво Эгурен

Окно на лужайку

Рассказы

*Перевод с испанского и составление
Ю. Ванникова*

Предисловие Хулио Травиесо

Москва
«Известия»
1984

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Эгурен Г.

Э17 **Окно на лужайку / Пер. с исп. и сост. Ю. Ванникова. Предисл. Хулио Травieso. — М.: Известия, 1984. — 128 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)**

В эту книгу включены рассказы из нескольких сборников известного кубинского писателя Густаво Эгурена. Разнообразные по стилистическим приемам и тематике — от жанровых зарисовок быта и нравов провинциального городка в дореволюционной Кубе до описания событий, проблем и конфликтов современности, — эти рассказы отражают жизнь различных слоев кубинского общества на протяжении нескольких десятилетий.

Сборник представляет советскому читателю известный кубинский прозаик Хулио Травieso.

Э $\frac{4703000000-079}{074(02)-84}$ 91—84

**ББК 84. 7Ку
И(Куб)**

Всегда в пути

Перед советским читателем — книга рассказов современного кубинского писателя Густаво Эгурена, чья литературная деятельность насчитывает более четверти века: первое его произведение — антивоенный рассказ «Это короткое слово «мир» — появилось в 1957 году, в период режима Батисты, а одно из последних (включенное в этот сборник) — «Непревзойденный фоторепортер» — увидело свет в журнале «Бозмия» в 1983 году.

Тематический диапазон писателя очень широк, сюжеты некоторых его рассказов — «Окно на лужайку» — выходят за национальные рамки, а их проблематика имеет подчеркнуто обобщенный, общечеловеческий характер. Напротив, место действия серии его рассказов, составляющих книгу «Ящерицы не едят сыра», ограничено пределами небольшого провинциального городка в дореволюционной Кубе — нетрудно догадаться, что речь идет о Пинар-дель-Рио, где прошли юношеские годы писателя.

Не будет преувеличением сказать, что в своей первооснове рассказы Густаво Эгурена отражают различные моменты жизни и грани личности самого автора, ибо писатель, следуя известному совету Эрнеста Хемингуэя рисовать только то, что хорошо знаешь или пережил сам, сумел обогатить кубинскую литературу личным опытом человека, достаточно побродившего по белому свету. Судите сами: родившись на Кубе в 1925 году, в семье басков, Густаво Эгурен провел детство в Испании, в возрасте 12 лет вернулся на Кубу, а в последующие этапы жизни, каждый из которых нашел своеобразное отражение в творчестве писателя, был почтальоном, бродячим торговцем, продавцом картин, театральным агентом, учителем, адво-

катом (закончив факультет права, он впоследствии отказался от деятельности юриста) и, наконец, с победой революции 1 января 1959 г., — дипломатом, в связи с чем ему довелось объехать полмира и жить в таких далеких и не похожих друг на друга странах, как Индия, Финляндия, ФРГ, Бельгия. Так что в каком-то смысле его биография перекликается с бурной жизнью знаменитого французского поэта Франсуа Вийона, и к ней можно отнести слова, которыми другой знаменитый французский поэт — Блэз Сандрар — охарактеризовал как-то самого себя: «Всегда в пути». Для талантливого человека — каким, несомненно, является Густаво Эгурен — обилие дел, забот и занятий нередко служит жизненной школой, необходимой для формирования его как писателя.

Читая рассказы из цикла «Ящерицы не едят сыра», в которых сценой, где разыгрываются события, служит вымышленный провинциальный городок (прием, распространенный в современной литературе, в том числе латиноамериканской, достаточно вспомнить поселок Санта-Мария Х. К. Онетти), невольно вспоминаешь легендарный Йокнапатофский округ Уильяма Фолкнера. Но если фолкнеровские персонажи отмечены знаком трагедии, то на героях Эгурена лежит печать иронии, мягкого юмора их создателя (рассказы «День всех незнакомцев», «Лучший в мире хоронильщик», «С цирком приходит несчастье» и др.). Используя юмор и иронию как художественный прием, писатель рисует ту сонную, застойную, примитивную жизнь кубинской провинции, которая, к нашему счастью, ушла в прошлое. Однако как страница истории, как компонент культурной традиции эта жизнь по-прежнему привлекает внимание художника, потому что смысл и содержание преобразований, осуществленных в послереволюционной Кубе, не могут быть полностью поняты и по достоинству оценены без знания этого жизненно важного материала, хронологически еще столь близкого, а исторически уже столь далекого.

Сборник «Окно на лужайку» не отразил бы достаточно полно творчество писателя, если бы в него не были включены рассказы, посвященные революционной борьбе кубинского народа, изображению тех сложностей и противоречий, которые пре-

одолевал наш народ в процессе этой борьбы. И здесь особый интерес читателей, безусловно, вызовет рассказ «Возвращения», где описан мир кубинской буржуазии и ее отношение к революционным событиям на Кубе. С незаурядным мастерством Густаво Эгурен показывает нам, как представители крупной буржуазии на первых порах игнорируют революционное движение, начатое Фиделем Кастро в 1953 г., не придавая ему значения, затем пытаются использовать его в своих целях и, наконец, после победы Повстанческой армии и осуществления глубоких социальных преобразований открыто выступают против завоеваний революции. Герой рассказа «Возвращения» Андрес — тоже выходец из буржуазной среды, но ненависть к режиму Батисты и врожденное чувство справедливости привели его в ряды Движения. Первоначально вступление в ряды повстанцев, которые вели вооруженную партизанскую войну в горах Сьерра-Маэстры, было для него чем-то вроде приключения, однако в конце концов, пройдя крестный путь сомнений, утрат, разочарований, он становится сознательным и преданным участником революционной борьбы, что приводит его впоследствии к разрыву со своим классом, своим прошлым и с семьей, эмигрирующей в США.

Мы уже говорили о роли юмора в произведениях Густаво Эгурена, о мягкой насмешке, с которой он относится к своим протагонистам из книги «Ящерицы не едят сыра» — чудачкам и неудачникам, люмпенам без определенных занятий, «маленьким людям», в чьих жизнях нет ярких событий, но которые как персонажи гораздо значительнее историй, рассказанных о них, — в этом нас убеждает мастерство автора.

Хочется сказать еще об одной особенности творчества этого писателя: о роли в его сочинениях языка и техники литературного письма. Владея разнообразными техническими приемами повествования, свойственными нашей литературной эпохе, такими, как ретроспективная перебивка, рассогласование глагольных времен, одновременное использование различных грамматических лиц и т. п., Густаво Эгурен способен, однако, и в последовательном, традиционном изложении, лишенном каких-либо технических ухищрений — вполне в стиле Пио Барохи,—

захватить читателя и держать его в напряжении от начала до конца...

«Писать хорошо,— заметил как-то кубинский поэт Элисео Диего, знакомый в переводах советским читателям,— есть особая форма деликатности». Если это так, то можно сказать, что Густаво Эгурен является мастером этой особой формы.

Хулио Травиесо
Гавана, Куба

Часть I

Возвращения

Одно из этих путешествий

В смертный час

Окно на лужайку

Возвращения

...десяти небес нам стоила земля.

О. Мандельштам

Не в силах унять волнение, он стоял на пороге, не отпуская ручку двери, и все смотрел и смотрел на вещи в комнате, на мебель, ту самую мебель, что составляла часть его потерянного и вновь обретенного мира и потому столько значила для него сейчас: софа, изящные столы и стулья красного дерева, высокомерный рояль, картины, похожие на загадки, которые вот-вот разгадаешь,— они словно дразнят своей непроницаемостью и вместе с тем притягивают взгляд. Он закрыл за собой дверь, все еще не отрывая взгляда от всех этих вещей, а точнее — не останавливая его ни на чем в отдельности. Закрыл за собой дверь — и погрузился в причудливый мир: полузабытые формы, образы, жившие лишь в воспоминаниях, вдруг предстали перед ним воочию, словно вежи, отмечающие целые эпохи, воскрешающие в памяти людей, что ушли из жизни навсегда или, казалось, безвозвратно канули в забвение. Не в силах унять волнение, он провел рукой по плюшевой обивке кресла.

Ах, эти возвращения домой!

Только одна лампа освещала комнату тусклым, призрачным светом — будто светилось завешенное тюлем окно на дальнем берегу ночи. Пять? Десять лет прошло? Неужели больше? Нет, время не назовешь совершенным механизмом — смутно шевельнулось в голове, когда он снимал сапоги. И вдруг он замер на месте. Эта минута — разве он уже не переживал ее раньше? Он отыскал в памяти одно из тех мгновений, окрашенных тоской безмерного одиночества, ощущением затерянности в безграничной ночи, когда в разбитом усталостью, истощенном болью и голодом теле остается единственное желание — закрыть глаза и вызвать воспоминания, которые придали бы тебе

силы, необходимые, чтобы продолжать сопротивление, — в такие мгновения разве он уже не вспоминал это движение, этот повторенный сейчас жест, самый этот миг, когда падают на пол тяжелые сапоги и чувство, что забытый и, казалось, навсегда утерянный мир вновь возникает перед тобой.

Нет, время не простой механизм. Ему сродни механика звезд, законы, что правят мирами. Время причастно какому-то иному порядку вещей, чуждому человеческой природе.

Когда это было? Пять? Десять лет назад? Двадцать?

Он тоже проводил рукой по креслу, однако ощущение от плюша было другим — привычным, да и руки тоже были другими — мягкими, ухоженными и, главное, нервными. Сейчас все было не только иным, все как бы существовало в другом измерении. Все теперешнее отличалось от того, что было, но не так, как, например, манго от гуайябы, а как манго, превратившееся в гуайябу, отличалось бы от настоящей гуайябы. Однако тогда он об этом ничего не знал и под вопрошающим взглядом ее черных глаз думал лишь о том, как произнести эти два слова, два простых слова, и поэтому он отвернулся, будто искал что-то очень нужное, и обронил: «Я ухожу».

Она не ответила. Возможно, она ожидала этих слов уже в течение долгого времени — точнее не определить этот период ожидания, разве не известно, что иногда одна минута из тех, что несут в себе все добро и все зло мира, может тянуться дольше, чем часы, чем дни и чем годы? Возможно, в течение долгого времени она думала, что, когда услышит, как он говорит: «Я ухожу», стараясь, чтобы его голос звучал невозмутимо и буднично, словно он просит передать соль за столом или небрежно и как бы мимоходом спрашивает в шесть часов вечера: «Хочешь мартини?», ей удастся ответить успокаивающе: «Я этого ждала, дорогой, обо мне не тревожься...»; но одно дело — наши надежды, и совсем другое — действительность; когда настал этот момент, она не смогла быть спокойной, не смогла произнести ни слова, она только кивнула головой, стараясь выразить этим движением все, что не сказала словами, и тоже отвернулась, будто искала что-то нужное.

Прощание было горьким. Как все прощания. Он не знал,

что делать, о чем говорить, а она вообще ничего не говорила, только смотрела и смотрела на него и, пытаясь сдержать свои чувства, чуть слышно напевала старую песенку, ту ранчеру, которую он потом услышит по радио в лесной глуши, — похоже, что ее пели «Матаморос», и, когда услышит эти слова: «осталось только четыре мильпы»*, он вскочит и закричит радисту, чтобы тот не упустил волну, и прикинется головой к радию, а потом не сможет толком объяснить, что с ним случилось, — с этого момента его начнут называть в лагере «Четыре мильпы» — «Куатромильпас» — и будут так звать даже тогда, когда станет забываться, откуда взялось это прозвище.

Но это случится потом, когда он уже привыкнет к жизни в горах, а в момент прощания все было неясно и он не очень-то представлял, какая жизнь его ожидает, а она, не высказывая вслух сомнений, должно быть, спрашивала себя, выдержит ли он все, с чем столкнется, а в самой глубине души, наверное, задавала вопрос, было ли вообще правильным его решение уйти в горы, а еще точнее, предыдущее решение, которое привело его к участию в Движении, что не могло кончиться добром, как заметил ее шурин Рамон. Все это усугубляло горечь прощания. Ведь то, что сейчас уже вошло в историю, тогда вызывало самые противоречивые суждения. Поэтому одни считали его поступок безумием, другие сумасбродством, третьи объясняли все страстью к приключениям.

Он тоже не знал, как его следовало бы назвать, но с самого начала понимал, что теряет и какую ответственность берет на себя.

С самого ли начала? Этот вопрос — в особенности этот — был мучительным. Потому что помимо всего прочего он не чувствовал себя героем. И она — глаза ее перескакивали с предмета на предмет, избегая его взгляда, — она, по-видимому, тоже не находила ничего героического в том, что он собирается сделать, скорее всего, она думала, что это может стоить ему жизни, как стоило многим другим. Но еще мучительнее была мысль, что иногда человек погибает не потому, что он герой, а по

* Мильпа — делянка кукурузного поля.



Карлос Энрикес. Две реки

собственной глупости, ведь, скажем прямо, именно так, а не иначе обычно смотрят на подобные вещи, пока они не вошли в историю.

Не раз потом он спрашивал себя: почему смерть одних выглядит героической, а смерть других, почти в таких же обстоятельствах, вызывает у нас чуть ли не улыбку. Умиравший Фрейд, который диктует свои ощущения ученикам, обступившим ложе смерти, для нас патетический герой, но вряд ли кто-нибудь признает героем или мучеником авионавтики Матиаса Переса. Объяснять все стечением обстоятельств — значит не сказать ровным счетом ничего. А с другой стороны, как разглядеть, скажем, в этом голодранце или в том безграмотном крестьянине героя или мученика? Сослаться на свойства той или иной человеческой личности? Это тоже мало что объясняет. Так или иначе, она тогда смотрела на него с глубокой затаенной болью. Он — это был он. Ей не было дела до этапов и зигзагов истории, объективных обстоятельств, проблем классовой борьбы. Это был он: ее муж, человек, как и все, со своими достоинствами и недостатками, тот, кто гонял машину со скоростью более ста миль в час, пил виски со льдом, давал себе слово посвятить конец недели деловым вопросам, а потом являлся домой, обожженный на пляже солнцем, и беззаботно бросал: «В последний момент мы решили поехать в Варадеро...» — и теперь ей тоже хотелось услышать, как он говорит эти слова, пусть даже она знает, что это ложь, все равно ей хотелось услышать, как его чувственный, умеющий лгать рот произносит все что угодно, кроме этих двух давно ожидаемых и все равно непереносимых слов — «я ухожу».

Он отвернулся, будто искал что-то нужное, и, пока он старался занять чем-нибудь руки, в голову вдруг пришла мысль, что ведь на самом деле ему нужно совсем немного: непромокаемую накидку, складной нож и еще несколько мелочей, которые не привлекут ничьего внимания. Он отобрал самое необходимое и сложил на столике. Дюжина предметов, не больше. Все прочее он оставлял в этом великолепном мире, с которым теперь пришло время проститься, в мире, важном для него только до момента прощания, до минуты, когда он решится его

покинуть, захватив с собой лишь то, что поможет выжить в тяжелых условиях. В условиях, когда человек — он это понял только сейчас — становится беспомощным, незащищенным, нагим, как в первый день творения.

Она не пыталась подбодрить его, только сказала покорно:
— Я так и знала, что ты все-таки уйдешь.

— Объясни все маме. И Рамону тоже.

И Рамону тоже. Лучше было бы сказать: «И особенно Рамону». Ведь в конце концов вся ответственность, которая до сих пор лежала на нем, теперь падет на Рамона. Но дело не только в этом. Рамон практичный человек. И ей снова припомнилось единственное замечание, которое он сделал по поводу деятельности брата: «Все это к добру не приведет», потом, слегка обняв за талию, он подвел ее к пышной бугенвиллии и, прихлебывая коктейль «Мохито», покусывая опущенную в стакан веточку мяты, с очаровательной улыбкой, сводившей женщин с ума, спросил шутливым тоном, в котором, однако, нетрудно было уловить достаточно серьезное предостережение:

— Не могла бы ты втолковать моему братцу, что, поступая так, он совершает глупость? — Он поправил ей выбившиеся пряди волос. — Думаю, что тебе удастся убедить его, Лили. Во всяком случае, почему бы не попытаться?

И она попыталась — по-своему. Она попыталась бы сделать это в любом случае, даже если бы Рамон не вмешался. Хотя наивно было надеяться, что муж согласится с ее доводами. В свои двадцать лет, одетая по последней моде, будто только что вышла из Nautico's Bazaar*, благоухающая французскими духами, обремененная лишь заботой о своих длинных волосах, о цвете нового шампуня, рекомендуемого журналом «Vog», вряд ли она могла понять происходящее. Но теперь, издали оглядываясь на то время, можно ли с уверенностью сказать, что он сам понимал все? Ведь история — это непрерывность движения. То, что можно рассказать за пять минут, складывается из бесконечной череды простых действий, из действий многих людей — и у каждого из них своя правда, — таких людей, как

* Модный магазин в дореволюционной Гаване.

он. При полном безучастии таких, как Рамон. Но и сами люди все время меняются (как манго, которое превращается в гуайябу), они думают, что остались прежними, а на самом деле они уже давно перестали быть такими, как раньше. Она попыталась в свое время изменить — под давлением Рамона — ход событий. А чем все это кончилось? Она смутно почувствовала, что перестает понимать окружающее и не способна переубедить мужа. Молодая, красивая, не чуждая тщеславия, временами поддающаяся общему настроению, она, сама не сознавая этого, вступила на опасный путь, на который толкал ее шурин, и этот путь в данный момент обрывался в той самой комнате, в глубине дома, где она жила после замужества, куда вела галерея в стиле колониальных времен, начинавшаяся от гостиной, в которой сейчас, сидя в кресле, он стянул с себя сапоги, со стуком бросил их на пол, вытянул ноги и снова воскликнул:

— Ах, эти возвращения домой!

Возвращение домой, возвращение к ней. К ней, дважды покинутой им и вынужденной в одиночку противостоять смятенному миру, к ней, такой молодой и красивой, будто только что вышедшей из роскошного магазина, хотя теперь и пахнувшей луком, но такой спокойной и серьезной, глубокой и печальной, какой ее раньше невозможно было даже вообразить. Это были тяжелые годы, они и теперь оставались тяжелыми. Ситуация, которая когда-то представлялась им столь драматичной, оказалась лишь прелюдией, драматической — но прелюдией, не больше. Тогда-то они этого не знали и в ту пору пережили все как финал, драматический финал. Сегодня о том времени рассказывают в школах, но это уже совсем другое дело. Рассказывают, как было холодно, как не хватало лекарств и оружия; для него дождь, поливавший их в горах, голод и холод, от которых они страдали, не были лишь словами, пробуждающими мысль о тех, кто мок, голодал и мерз там или в любом другом месте. И было еще одно, что так трудно почувствовать потом, — особый дух товарищества, своеобразное восприятие военной иерархии как единственный в своем роде способ осознать себя свободным, хозяином собственной судьбы, ощутить твердую почву под ногами. Это ощущение с лихвой компенсировало

многие переживания, в том числе потрясение, которое он испытал, покинув Гавану, где чувствовал себя в кольце невидимых врагов, следящих за ним настороженным, подозрительным взглядом, словно ожидающих удобного момента, чтобы наброситься. Правда, в новой жизни его тоже подстерегали опасности, но зато исчезло сознание, что ты живешь в западне, и было радостно думать, что товарищи рядом, что они с оружием в руках охраняют твой сон. А что касается всего остального, так ведь это была война.

Хотя, как известно, не совсем обычная, не такая война, когда нажимаешь гашетку — и где-то там, далеко, падает человек, до которого тебе не больше дела, чем до китайского мандарина; тут приходилось стрелять в человека, почти ощущая его дыхание, и, главное, стрелять в тех, кого трудно было до конца считать врагами. А это уже совсем другое дело. Их пытались убеждать, а не убивать, и хотя он разобрался во всем довольно быстро, однако не сразу, а когда разобрался, то вместе с пониманием пришла уверенность в себе и чувство превосходства над врагом. Но было одно обстоятельство, досаждавшее ему на первых порах: его по-прежнему называли «Куатромильпас», несмотря на то что он уже стал лейтенантом.

Более того, приходившие в отряд новички отвечали на все его слова формулой, против которой решительно не было никакого противоядия.

— Есть! — отчеканивали они. — Есть, лейтенант Куатромильпас!

Как не похоже было все это на мир, который он оставил и в котором в последнее время чувствовал себя как в мышеловке, а раньше вел беззаботную, состоящую из одних удовольствий жизнь; мир, где неукоснительно придерживались правил хорошего тона, даже понимая всю их нелепость: «Сеньор Ордоньес, вам звонил сеньор Перес; сеньор Ордоньес, ваша супруга передает, что она будет в голубой гостиной; сеньор Ордоньес...»

Интересно, какое бы впечатление произвел на них хриплый голос Полтора Хуана — индейца с огромным, во все лицо, носом, — если бы он вдруг просунул голову в его кабинет в Лонхе и рывкнул бы, как всегда: «А, Куатромильпас, вот

ты где, черт бы тебя побрал! Что ты здесь делаешь? Опять стал белоручкой?» Что подумал бы Рамон? Так или иначе, с ним придется объясняться. Он тешил себя надеждой, что Рамон тоже поймет. Война многому учит. Когда засыпаешь, доверяя другим охранять твой сон, а значит и саму жизнь, или когда беспечно шагаешь по тропе, потому что тебе сказали, что вокруг уже все прочесано, когда вообще каждой минутой жизни ты обязан тем, кому веришь, до тебя постепенно доходит, что не так уж и важно, как тебя называют, что, может, этим людям не хватает воспитания и светских манер, но разве в этом суть, к тому же со временем ты сам начинаешь испытывать неловкость за свои манеры и воспитание, которые становятся бесполезными там, где речь идет о жизни и смерти. Война, где все равны, сближает людей и этим хотя бы частично возмещает ужасы, которые несет с собой.

Иначе как объяснить поступок Пабло — Пабло из Баямы, Пабло Баямца? Невольно сравниваешь его с другим Пабло — остроумным, элегантным, жизнерадостным, всегда готовым вернуть меткое словцо, вспоминаешь этого Пабло в клубе, за стаканом виски со льдом, когда он дает волю своему неподражаемому злословию; представляешь, как он поднимает брови, делает саркастическую паузу и комментирует, будто речь идет вовсе не о тебе, его друге, а о ком-то постороннем: «Оказывается, альпинизм, вот что увлекало этого человека...» — и все, больше ни слова, в то время как ты на войне, лицом к лицу со смертью. И ты знаешь, что там, в так называемом твоём кругу, твои так называемые друзья отпускают по твоему адресу подобные шуточки. Как же тут не сравнить этого Пабло с Пабло Баямцем, с этим мужланом-монтауно*, который без всякой особой причины — или была причина? — сделал то, что сделал. И точно так же можно сравнить всех его прежних друзей — людей воспитанных и утонченных — с теперешними друзьями, а если продолжать в том же духе, поневоле задумаешься о том, будет ли способен Рамон в подобных обстоятельствах сделать то, что сделал не колеб-

* Монтауно — горец.

лясь этот неотесанный монтуно, с которым ты не обменялся ни словом, этот одержимый, не ведавший сомнений, это существо, чей ум и инстинкт не воспринимали ни мысль о смерти, ни чувство страха перед ней.

Но для Баямца то, что случилось, было в порядке вещей. Он ни разу не вернулся к этой теме, не обмолвился о том, что произошло, ни единым словом; и позднее ты понял, что он вообще, по-видимому, придавал этому событию не больше значения, чем любой привычной мелочи их походной жизни. Но что было, то было: когда прозвучали выстрелы и стало ясно, что они попали в засаду, ты попытался прорвать окружение и, отдавая приказы, не заметил, что с вершины рожкового дерева в тебя целится солдат, и вот тут-то, в этот самый момент, не кто иной, как Пабло Баямец, бросился к тебе, сбил на землю, и именно в Пабло, в его руку, угодила пуля, предназначенная тебе.

Потом в лагере, когда наступила наконец тишина, ты подошел к Баямцу, и первые слова, которые ты услышал от него, свели на нет всю торжественность момента и весь пафос его мужественного поступка: «В чем дело, Куатромильпас? Стоит ли говорить о такой дерьмовщине?»

Вот и вышло, что со временем — позднее найдется кто-нибудь, кто выстроит все в хронологическом порядке, измерит и скажет, что не так-то уж много лет прошло, — ты перестал быть тем, кем был, и «Куатромильпас» окончательно превратилось в твое имя, хотя те, кто его выдумал, стали понемногу его забывать и теперь называли тебя капитаном, может, потому, что ты уже не походил на того человека, который пришел к ним, думая, что все знает и знает себя, но который не думал и не знал, что пройдет время и он больше не будет тем, кем был, похожим на своих друзей и приятелей, оставшихся, как Рамон, в Гаване, в своих офисах, клубах, на пляжах...

Так было, когда он первый раз вернулся и закрыл за собой дверь, еще не в силах оправиться от потрясения, испытанного в тот момент, когда ключ повернулся в замке. Дверь закрылась за ним — и вот он стоял среди вещей из далекого

прошлого, из дедовских времен, чувствуя уверенность — реальную, почти физически ощутимую, — что она его ждет, преисполненная нежности и любви, материнской и сладостно-чувственной одновременно, и тут она вошла в гостиную — короткий, как выстрел, вскрик, — и бросилась в его объятия, и плакала, и смеялась, как сумасшедшая, дергала его за бороду и говорила, что его надо продезинфицировать сальфумантом и креолином, и называла его Блэкманом* и графом Монте-Кристо.

— Я тебя продезинфицирую, Распутин! Дай разглядеть тебя получше! — и рассматривала его, изменившегося, веселого, одичавшего и взволнованного. Его, своего мужа, своего героя — ее собственного героя и героя всего народа. Снова и снова звонил телефон, звонил еще тысячу раз, в конце концов им пришлось вовсе снять трубку.

— Вся Гавана хочет знать о тебе.

Да, вся Гавана хотела знать о нем. Глаза Рамона увлажнились от радостного волнения. Всем не терпелось видеть настоящего живого барбудо. Был день победы; улицы с раннего утра заполнялись людьми: негры и белые, мужчины и женщины, старики и молодежь, бедные и богатые — все были там. Вся Гавана. Вся Куба. Кто тогда не плакал? Кто не выкрикивал приветствий?

Это была безоблачная пора. В первый день все были счастливы. А примерно на тридцатый день счастливых, похоже, поубавилось. И разве не Рамон первым в семье различил признаки опасности, когда еще не отремело эхо триумфального вступления в Гавану и не смолкли отзвуки восторженных криков?

Фермин сказал:

— Пабло, твоя кузина не выходит из церкви.

А тот со своим обычным смешком парировал:

— Значит, священник ее хорошо убажает.

Шум в баре заглушал голоса, но он, Рамон, снова услышал укоряющий голос Фермина.

* Герой комиксов: человек — летучая мышь.

Тут-то Рамон и выложил, что его мучило и о чем он больше не мог молчать:

— Это добром не кончится...

— Но разве вы сами не говорили, что этот тип знает, что делает?

Склонившийся над своим виски со льдом Пабло состроил гримасу отвращения, будто ему в стакан подлили желчи. Но горечь была не в стакане.

— Все дело в том, что у тебя нет земли,— сказал он.

Именно в этот момент Рамон изрек свое первое предсказание. Свое первое мрачное предсказание:

— Этот человек нас разобщит. Сначала отколетесь вы, Пабло, а потом настанет и наша очередь...

Фермин улыбнулся:

— Не будем пессимистами.

Было не так-то легко испортить настроение Пабло и сбить его с обычного иронического тона, но на этот раз он был подавлен: ему, как и Рамону, чутье подсказывало, что надвигаются тяжелые времена...

Но не везде было место унынию. В его доме радовались, что он вернулся живой и невредимый, похожий в военной форме на героя какого-нибудь романа, обветренный, энергичный, и эта радость перевешивала тревоги Рамона. Горечь его замечаний, все его опасения, выходявшие за рамки обычных семейных забот, пока еще не омрачали счастья возвращения.

— Рамон тут говорит бог знает что. Но дела и политика — это для мужчин.

Для матери не могло быть большего счастья, чем вновь обрести сына. Все остальное не имело значения. С чашечкой кофе в руках, она все время о чем-то размышляла и вспоминала. Вспоминала детство сыновей:

— Знаешь, Лили? Хоть Рамон и был старшим, он всегда восхищался братом и даже завидовал ему.

В скрытых перипетиях семейной жизни она искала причины, заставлявшие старшего сына бросать тень на брата, вернувшегося героем. При всем том никогда в их дом не приходило столько народу. Каждый день с утра до вечера старушка пила

кофе, курила крепкие сигареты и неумоимо пересказывала истории, связанные с пребыванием сына в Сьерре, перемежая их с воспоминаниями о его детстве — своего рода ключом, без которого ее рассказы могли остаться непонятыми; время от времени она надолго умолкала, потом возобновляла разговор, растягивая до бесконечности ощущение беспредельного счастья, и единственное, что могло согнать улыбку с ее губ, был приезд кого-нибудь из дядей ее мальчика (Ну-ка, ну-ка, где здесь дикарь-монтуну? Куда девался этот барбудо?), пытавшихся вторгнуться во владения, где она по праву царилла безраздельно.

Да, в то время он вдруг стал героем. Никогда еще счастье не казалось столь прочным и надежным. К тому же речь шла не только о счастье его и близких, а о всеобщем счастье. Недаром потом в народе говорили, что в первый день и сам Батиста чувствовал себя фиделистом. Особенно радовались дяди Андреса. Они гордились им, и эта гордость отчасти прикрывала испытываемую ими неловкость за свои прежние взгляды, потому что не один только Рамон считал уход в Сьерру безумием, не один Рамон вел разговоры о всяком сброде, о дурной компании, не один он пожимал плечами и вздыхал о пропавших ни за грош воспитании и образовании в католическом колледже, о напрасно затраченных усилиях. Но в конце концов этот первый день покончил с прежними сомнениями; теперь каждый на свой лад спешил выразить поддержку и сочувствие — где же этот монтуну? — и каждый на свой лад признавал, что мир принадлежит молодым, и всякий по-своему — что же вы завладели им и никого не подпускаете? — демонстрировал свою причастность к герою. Какое-то время все чувствовали себя сторонниками Фиделя. В первый день и немного позднее, в момент наивысшего накала страстей, когда появились надписи: «Спасибо, Фидель» и: «Фидель, это твой дом». Так продолжалось если не один день, то неделю, месяц, может быть, несколько месяцев. Потом взоры снова и снова будут обращаться к этой эпохе, взоры, исполненные надежды или злобы. «Если бы он не зашел так далеко», «Если бы все было так, как вначале», «Если бы...» А теперь? Да-



Рене Портокарреро. Гавана

же не теперь, а раньше — сразу после первой радости? Разве он не был героем? Нет, живых героев нет. Те, кто погибает, — мученики, жертвы, а те, кто выживает, — просто люди, выполняющие свои обязанности и подлежащие суду сограждан.

Все это ему было трудно представить в ту ночь, когда он в первый раз вернулся домой, в первый раз сбросил сапоги на ковер и погрузился в себя, проникаясь ощущением безопасности, исходящим от гостинной колониальных времен, от дедовской мебели. Но теперь — сапоги снова сброшены на ковер — он думал об этом, когда, преодолевая безмерную усталость, навалившуюся на плечи, встал с кресла, снял ремень с пистолетом, положил его на рояль и провел рукой по темному дереву, по гладкой, полированной поверхности, где от его пальцев оставались тусклые полосы.

Гостиная была освещена. В тишине и ночном полумраке она казалась еще просторнее. Весь дом казался ему слишком просторным, пустым, одиноким. Он подошел к выключателю и зажег люстру.

Комната сразу наполнилась светом ламп, шепотом, разговорами, приветственными восклицаниями, мужчинами и женщинами, старавшимися протиснуться на галерею и в мощеный патио. Наполнилась улыбками, взглядами, тостами, насмешками, обрывками фраз:

— Вы знакомы?

— Конечно. По яхт-клубу.

— Тогда ты знаешь и невесту?

— Когда же свадьба?

— Кларита, ты слышишь, что он говорит: как, даже свадьба?

— Какой бесстыдник!

А он, переходя от группы к группе, приветствует гостей, раздает улыбки и везде получает одни и те же ласковые укоры.

— Ты меня избегаешь. А у меня столько хлопот. Я хочу сделать так, чтобы он обратил внимание на мою Леонорситу.

— Не может быть, тетушка Мерседес...

— В моем доме он пил коктейли, а хорошенькую девочку искал себе в другом месте.

— Они будут жить здесь?
— Здесь.
— Вот тут ты совсем не права. Здесь им нечего делать.
— Ты думаешь?
— Здесь сейчас раздолье для всякого сброда. Ведь надо же им как-то выдвинуться.

— Верно говоришь, Фермин. В этой стране только мы четверо и работаем, а все остальные живут за счет политики. Что сказал бы Сако*, если бы свой очерк о праздности он писал сейчас?

— В добрые старые времена наши деды жили за счет негров, а теперь негры живут за наш счет.

— Где они проведут медовый месяц?

— Это военная тайна.

— От друзей?

— Именно от них.

— Разведывательная служба обнаружила два билета на Акапулько и несколько бронированных мест в Мехико на...

— В этот день там уже никого не будет. Я оставляю тебе загородный дом — чистенький, как твой операционный зал.

— Очень хорошо, с челядью он мне не нужен.

— Там не будет ни души.

— А вдруг тебе потом станет жалко их выгонять, и вместо загородной виллы я получу вонючий хлев.

— Выпей-ка еще виски, подкрепись. Я тебе говорю вполне серьезно: это ведь хороший предлог, чтобы устроить чистку.

— И чтобы отправиться в Кавакаму**.

— Ах, нет! Сколько можно ездить в Кавакаму. Я уже полна ею до краев.

— Ты или твой муж?

— Я, Люпита, я. Муж полон до краев карейным порошком***.

* Сако, Хосе Антонио (1797—1879) — известный кубинский журналист и публицист, выступавший за независимость страны.

** Роскошный отель в курортном местечке Варадеро (около 150 км от Гаваны).

*** Порошок, получаемый из органов черепахи карей; используется как возбуждающее средство.

- Сударыни, будьте добры!..
- Добры к нам черепахи карей! Что было бы с нами, если бы не они!
- Да, мужья должны быть как шариковые ручки — с запасным стержнем: иметь замену.
- Смотри, чтобы с тобой не случилось, как с вдовой Фернандеса Виеры. Сначала она вышла замуж за замену, а теперь уже ищет замену замене.
- Люпита, твоим языком тебя можно стреножить, да еще останется, чтобы сплести сумку!
- Подойдите-ка сюда. Поближе, дочь моя, поближе, не кричать же об этом. Вот так. Скажите, правда, что из-за этой свадьбы Эрнестина лишится покровителя?
- Ах боже мой, боже мой!..
- Нет, вы только посмотрите на нее! Ведь даже подго-вишки знают...
- Эрнестина?
- В каком мире ты живешь?
- Нельзя верить никому.
- А что относительно сеньора Мюллера?
- Мария-Антуанетта и герцог Ферсен.
- Но тут совсем другое дело. Он ведь еще младенец.
- Но не младенец Иисус.
- А она может сойти за Магдалину.
- Эрнестина могла бы сказать, что все-таки лучше давать ему грудь, чем ночной горшок.
- Девочки! Какие у вас злые языки!
- Совсем нет. Правда, Люпита?
- Это наша единственная защита.
- Языки помогают нам продержаться. Иногда я вдруг чувствую, как что-то щекочет мне живот. Глядь, а это грудь выскользнула из бюстгальтера. Но с помощью языка я еще могу постоять за себя.
- Язык не стареет.
- Тем более что ты его постоянно тренируешь.
- Упражнения в злословии.
- Как говорит этот малыш Мюллер: в начале было слово...

— ...А в конце — язык. Должна тебя разочаровать.

А он в этот момент издали улынулся им и поднял бокал, и они, такие милые и изысканные, улыбнулись в ответ и тоже подняли бокалы.

— Вот он, покровитель.

— Какова Эрнестина!

Он продолжает переходить от группы к группе, прерывая разговоры.

— А Лили? Где ты ее спрятал?

— Он уже готовится к профессии мужа.

— Жена должна быть при деле.

— Ты хочешь сказать — в постели?

— Пабло! Паблито!

— Послушай, а сколько вдов ты оставляешь?

— Я куплю твою телефонную книжку.

— Не продавай ее, сохрани для себя. Она тебе может понадобиться.

— Конечно! Жениться — не оскотиться.

А с другого конца гостиной ему улыбались ее большие черные глаза, большой рот; лицо ее светилось наивной гордостью, она чувствовала себя избранной, желанной, ей завидовали, и она улыбалась ему и всем вокруг, потому что настал наконец день, минута, когда ее мечты и надежды обрели жизнь, лучезарная минута, в которой она разглядела улыбку вечности. А если бы вдруг упали покровы? И в эту лучезарную минуту ясновидящий взгляд различил бы хоть малую частицу будущего, например, одно из тех страшных мгновений, когда, хочешь не хочешь, ей придется сказать: «Его арестовали. Он — агент». Или другое мгновение, когда он сделает вид, что ищет что-то очень нужное, что-то безнадежно затерявшееся, надеясь найти подходящую формулу, чтобы сказать ей два простых слова, которые никак не выговаривались. Или она увидела бы себя, одинокую, с новорожденным ребенком на руках, когда ей не с кем будет разделить не только радость, но и тоску и муки и она будет безутешно рыдать, скорчившись на кровати и впившись в себя ногтями, и будет вспоминать слова Рамона, его сводящую с ума улыбку, металл в голосе, его дыхание, пахну-

щее мятой и лимоном, и особую манеру говорить улыбаясь, как бы в шутку — манеру законодателя салонов, которая делала его любимцем светской публики,— улыбаться, несмотря на горечь, которую он испытывает, произнося: «Не могла бы ты убедить моего брата, что он совершает глупость, Лили?»

Если бы такое было возможно, она увидела бы самое себя, увидела, как она вонзает в себя ногти, бьется, кричит и плачет в отчаянии оттого, что не сумела выполнить свой долг и отговорить его. Хотя она пыталась сделать это. Пыталась, но не смогла. Она попыталась бы отговорить его, даже если бы Рамон ничего ей не сказал, считая, что это уже слишком — просить ее, чтобы она поняла что-то, она, эта куколка из шикарного магазина, будто только что извлеченная из Nautico's Vazaag, от которой веяло французскими духами, импортными розами, шампанским «Вдова Клико», ароматами самой изысканной кухни, самых шикарных ресторанов, роскошью трансатлантических лайнеров, реактивных самолетов, миррой и фи-миамом... кукла, не способная не только прозреть будущее, но даже понять то, что ей хотел сказать шурин своей улыбкой, сводящей с ума...

Ее усилия оказались напрасными. По правде говоря, она не слишком и настаивала, она тогда не знала, не представляла, не могла до конца поверить. Во всем была неумолимая последовательность, как в безупречном сцеплении, где одно сопряжено с другим, как при ходьбе. Ставишь одну ногу вперед, а потом выносишь вперед другую. Просто. Последовательно. Одно действие ведет к другому. И с каждым шагом он уходит все дальше, теряясь вдаль, а она в этот момент лежит в кровати одна или, точнее, со своим новорожденным младенцем, который еще больше подчеркивает ее одиночество,— она все это понимает и понимает слова шурина, хотя никогда не постигнет смысла его улыбки, неотразимой улыбки, уместной в любом другом случае, но только не тогда, когда он говорит, что брат с каждым шагом заходит все дальше и дальше и скоро, наверное, зайдет так далеко, что не будет уже пути назад. В такую авантюру он ввязался. Путешествие без возврата. Все вперед и вперед. Шаг за шагом. Одно действие за другим. Удаляясь

от самого себя, от своей семьи, от своих дел, своей среды, своей жены, всей своей жизни. Уходя дальше и дальше, как это предвидел его брат, который — несмотря на неуместную улыбку — хотел, чтобы все было как надо, и который потом первым предупредит об опасности, когда остальные будут еще без ума от радости, от преходящей — он-то это знал — радости, жестоко обманываясь, за деревьями не видя леса; но он, на кого она никогда не обращала особого внимания, он, Рамон, всегда был начеку, его не обманешь ни крестиками на шеях революционеров, ни восторгом первых дней победы, ни даже тем, что в его собственной семье объявился герой — его брат, напротив, он хотел предостеречь этого героя — пока еще было не поздно, пока можно было надеяться, что тот следует не убеждениям, а заблуждениям, — и он улыбался простодушию и наивности старушки, отыскивающей в их безоблачном детстве, в перипетиях их исполненной братской любви жизни истоки диссонирующей зависти к тем качествам брата, которым он, Рамон, на самом деле никогда не придавал значения.

Но она, Лили, все равно не смогла бы действовать иначе: для нее дело было не в объективных обстоятельствах, не в ходе истории и не в классовой борьбе, для нее речь шла о нем, ее муже, обыкновенном человеке, похожем на всех других людей и вместе с тем ни на кого не похожем — ведь это был ее муж, ее мужчина, Он. Все ее доводы разбивались о его спокойствие, кажущееся, конечно, а не настоящее, она догадывалась об этом по нервному движению рук, не находивших себе места, по глазам, которые, временами утрачивая суровость, смотрели напряженно, будто отыскивали опасность, притаившуюся где-то совсем рядом. Иногда ее останавливали его слова, его усталый голос, его долгое молчание.

— Лили, жизнь должна иметь какой-то другой смысл — не тот, что мы вкладывали в нее.

Сказав это, он надолго умолкал, лишь время от времени шевелил губами, своими чувственными и лживыми — в иных ситуациях — губами, будто продолжая говорить о том, что его беспокоило, хотя на самом деле он хранил молчание. Но проходили дни, и она видела, что его подавленность сме-

нялась радостной бодростью, неожиданно овладевавшей им, и он произносил совсем другие слова, как бы подводившие итог всем его монологам, молчанию, мыслям:

— Победа у нас в руках...

На каком языке, Рамон, разговаривать ей с мужем, чтобы поколебать его убежденность? Об эту убежденность разбились все ее усилия, вот почему потом она так сокрушалась, так рыдала, лежа на кровати около новорожденного младенца. Она бы рыдала и сокрушалась задолго до этого, если бы будущее для нее не было столь непроницаемым. Нет, нет, пусть пока она останется такой, как в тот момент, не ведая ни о чем, пусть смотрит на него большими черными глазами, улыбается большим ртом и наслаждается этой единственной и неповторимой лучезарной минутой, считая, что она на пороге вечности, и обдумывая слова, которые скажет ему, и то, как она их скажет, — потом, когда все разойдутся, когда они останутся вдвоем, как она скажет тогда, какое это счастье — положить руки ему на плечи, а он нетерпеливым движением повернет выключатель — и большую гостиную заполнят тени, останется гореть только один торшер, и его свет едва будет доходить до галереи, где, устроившись в плетеных креслах, еще продолжают неспешный разговор мать и несколько родственников, не знающих, что ей нужно положить руки ему на плечи и прошептать слова, которые выразят все ее счастье и потом, много позже, заставят его вернуться в этот полумрак.

Хотя, вернувшись и щелкнув выключателем, он не увидит ее больших, ждущих глаз, свежего, тоже большого рта, ее исполненного покоя, будто не подвластного времени лица, не увидит ее всю — благоухающую французскими духами, лучезарную, нежную, страстную, ослепительную... Будет только полумрак гостиной, только его сапоги, брошенные на пол, его ремень с кобурой, тишина и одиночество ночи.

Да, это движение он уже делал раньше. Он уже возвращался однажды, но тогда все было совсем по-другому. Общей была лишь усталость. Тогда, как и теперь, он пересек всю страну, не спал по ночам, питался от случая к случаю и думал только о пахнувшей свежестью постели, о мыле и чистой воде, о глад-

ких простынях, о мягкой и нежной подушке... О ней.

Но в то, первое возвращение, так глубоко врезавшееся в память, у него было твердое убеждение, глубоко засевавшая мысль, что наступил конец, что преследования, бои, борьба навсегда остались позади, что они тем больше отдаляются от него, чем ближе он подходит к дому, что когда он снова окажется в Гаване, в своем прежнем мире, тот, другой мир, в котором он жил так недолго, но так напряженно, бесповоротно отодвинется от него, растворится во времени, станет предметом воспоминаний, легендой, вымыслом, канет в забвение. Он думал, что все кончено и что он снова заживет своей обычной жизнью — тот же клуб, те же модные бары, роскошные кабаре, дача на морском берегу, открытая сверкающему морю, песку, небу, свежему ветру, запаху водорослей и соли, распахнутая для друзей.

Однако он ошибался. Та жизнь не вернулась. Ничего не вернулось. Он остался один. Он был одинок, как Робинзон Крузо, как старик Ной. Даже больше, чем они. Он был одинок, как никто на свете. Потому что все, кто его любил и кого он любил до сих пор, самые близкие родные и самые близкие друзья — те, кто входил к нему без стука, кто растягивался на его постели, ожидая, пока он оденется, все эти люди — милые и симпатичные, беззаботные и беспардонные, все они оказались враждебными ему — кто знает, может, и он был бы таким на их месте? Они стали чужими, и не могло быть иначе, и так будет всегда.

Так что та жизнь не вернулась. Она шла своим путем. Шаг за шагом, действие за действием. Она сделала крутой поворот — и он сам, не отдавая себе в этом отчета, видел все вокруг в ином свете, не так, как раньше, он уже давно не ездил на загородные виллы, не заходил в свою контору, не пускался в споры с семьей, с ужасом — это стало окончательно ясно — взиравшей на происходящее, и наконец почувствовал облегчение, когда в один прекрасный день Революция забрала все их земли.

Потом, в разное время и при разных обстоятельствах, ему доведется вспоминать то время и особенно тот момент, когда

он в первый раз столкнется с братом и когда, тоже в первый раз, они оба увидят и осознают, какими они были и какими стали.

— ...правительство, которое грабит твою семью...

— Не грабит.

— ...которое отнимает у твоей матери...

— Ты воспринимаешь все слишком лично, Рамон.

— Лучше скажи, имеет это для тебя какое-нибудь значение или не имеет?

— У мамы осталось все, что ей необходимо.

— Ты стал коммунистом! В тебе нет жалости и уважения даже к собственной матери!

— Ты сошел с ума!

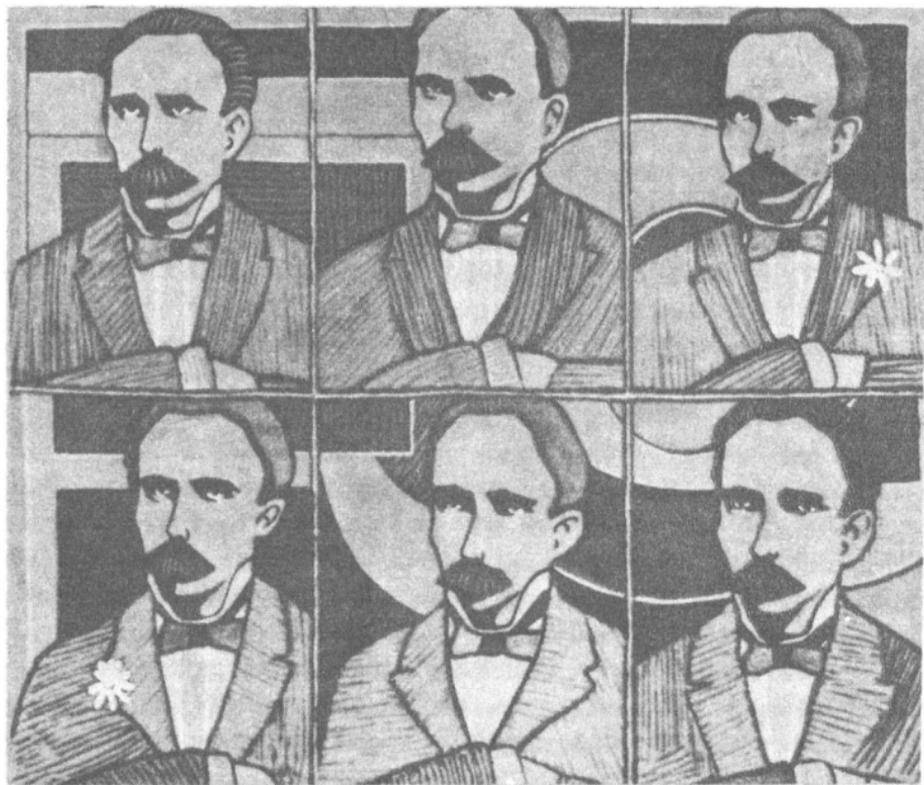
Не только Рамон сошел с ума. Мать, дяди, друзья... Все. Взять, к примеру, Пабло: в нем появилась угрюмость, стрелы своей иронии он обратил против него и Фермина, у которого на ветровом стекле спортивного «кадиллака» в то время красовалась наклейка: «Идет аграрная реформа!»

— Вот именно идет,— говорил Пабло, сидя со своим виски со льдом,— сейчас идет эта, потом придут другие, и когда Фермина обдерут, как меня, он спохватится, да поздно будет. Потому что это и есть коммунизм. Коммунизм, контролируемый из Москвы! Гуманизм, как же, держи карман!

Фермин был из числа тех, кто не потерял головы. Напротив. У входа в свою контору он выставил два трактора — дарственный вклад своей фирмы в аграрную реформу — и вывесил большой красно-черный флаг с надписью: «Быть патриотом — значит потреблять то, что производится в стране».

Происходит борьба между американской и нашей промышленностью — ясно?

Нет, им было неясно. Ни Рамон, ни другие не понимали, что для процветания этой благословенной страны, где достаточно бросить зерно в землю и отвернуться на миг, чтобы за твоей спиной появились не только всходы, но и цветы, необходима такая встряска. Они этого не понимали, да, по правде говоря, при тех обстоятельствах это и нелегко было понять. Все вокруг смешалось, даже вещи несоразмерные и далекие друг от друга.



Рауль Мартинес. Хосе Марти

И Рамон, самый дальновидный из них, он-то и оказался в самом большом замешательстве.

— Не вижу никакого выхода,— жаловался он.

Да, он не мог увидеть выхода, так же как ему тогда не дано было увидеть самого себя после тяжелых испытаний, после того, как его столь прочно построенный мир начал трещать и раскалываться, грозя погresti всех под своими обломками,— так, значит, они теперь откроют наши пляжи для всех?— не дано было представить себя молчаливым и сумрачным, навсегда утратившим сводящую с ума улыбку, твердящим о Пабло, своем истинном брате, герое, потерпевшем фиаско, чьи фотографии, где он почти неузнаваем в пятнистой униформе, с опущенной головой, с презрительной складкой у рта, быть может, такой же, как у него, Рамона, замелькают на газетных полосах; мог ли он думать, что придет время — отзвучат удивленные возгласы, все станет на свои места, и воцарится спокойствие неизбежности — и с ним не будут больше спорить, и милисианос перестанут объясняться с ним, как и Деметрио, одетый в форму не его, Рамона, шофера, а военную форму, Деметрио с темными кругами под глазами после ночного дежурства, Деметрио, молчавший, когда его бывший хозяин угрожал ему и напоминал о прежних милостях, или когда на стадионе, где временно размещали задержанных, Рамон без конца твердил одну и ту же фразу, которая его ободряла: «Сегодня гусано, а завтра — бабочка»*; да, для самого Рамона мир тоже бесповоротно изменится и, начиная с того момента, когда все понемногу начнет проясняться, или, может быть, чуть позже его истинным братом станет тот, кто сразу же, как прилетит в Майями, прямо на трапе самолета, в своей свежeweглаженной пятнистой форме защитного цвета сделает на чистом английском языке заявление для программы, которая будет транслироваться по всей стране от одного побережья до другого:

— Я решился на борьбу во имя бога и отечества...

Фермин между тем упорно твердил:

* Гусано — по-испански гусеница, червяк. Так называли кубинских контр-революционеров.

— Хватит увлекаться сельским хозяйством. Современный мир — это индустрия.

— Всё в розовом свете. А негры?

— Слышали анекдот? Один тип, напуганный выступлением Фиделя по телевизору, отправляется к приятелю, а тот ему говорит: это еще у тебя экран пятнадцать дюймов, а если бы был, как у меня, двадцать три, ты бы мог разглядеть, как он сложил пальцы, когда говорил: пинья*, мамей** и сапота***!

Да, они знали эту шутку, но она не казалась им смешной. Ничто им не казалось смешным. Незаметно они приблизились к последнему рубежу: теперь уже каждый день на каждом шагу возникали причины для новых трений — радость и надежды одних оборачивались огорчением и разочарованием для других, и если ты был расстроен в связи с пожаром, охватившим огромное поле сахарного тростника в самый разгар сафры, то неизбежно натыкался на ликующие лица вокруг, и наоборот, если ты радовался заявлению правительства о том, что необходимо дать оружие крестьянам, и находился по этому поводу в приподнятом настроении, то повсюду встречал ехидные усмешки, замаскированные бокалом с дайкири, и слышал насмешливые комментарии:

— А ты знаешь, что изобрели новое зенитное орудие? Да-да, мачете! Если хочешь узнать подробности, поговори с моим уважаемым братцем.

— Что-то я давно его не видел.

— Он здесь. Заставляет всю Гавану ходить строем. А они даже не знают, где лево, где право, и при каждой команде стучаются лбами...

— Так вот, значит, чем он занят.

— Да, приятель... Раз-два-три-четыре, все враз, мордой в грязь и прочая дребедень...

В общем, не оставалось ничего другого, как разойтись.

А как же мать? Ей кажется, что она понимает правду каждого из своих сыновей. Однако самый главный, самый важный

* Сорт ананаса.

** Фруктовое дерево и его плод.

*** Фруктовое дерево семейства ахрасовых.

довод Рамона она не может принять; совершенно невероятно, чтобы ее сын был коммунистом,— так ей говорит рассудок, так ей подсказывает материнский инстинкт. Он — частица ее самой, она дала ему свою кровь, вскормила, вырастила, выходила, на ее глазах он превратился в красивого мужчину, и ничто на свете, она это знает, не сделает его жестоким, безжалостным, бесчувственным. Ее сын не коммунист. Но, с другой стороны — и здесь Рамон, безусловно, прав,— куда идут эти молодые люди, у которых нет никакого политического опыта, которые даже не представляют по-настоящему, что такое правительство? Куда приведут эти решения, принятые в спешке теми, для кого, похоже, еще продолжаются студенческие игры? Да, жизнь сложна. Разве еще несколько лет назад они все не были счастливы?.. Для чего ворошить проблему негров, если они, между нами говоря, счастливы, живя так, как живут? И, если уж на то пошло, разве не верно, что не все люди равны? Нет, не приходится сомневаться, что Рамон здесь прав. Он старше. Он разумнее, чем брат. Андрес не так рассудителен, да и уход в Сьерру, хоть он и закончился благополучно, что ни говори — просто безумие, человек его круга, прежде чем пускаться в подобную авантюру, должен был бы хорошенько подумать...

А он, Рамон, стоял в галерее перед расстроенной старушкой, которая сидела в кресле-качалке, обмахиваясь веером из пальмовых листьев, и говорил, позванивая льдом в стакане, что обязан ее предостеречь:

— Положение очень серьезное. Те, кто уезжает на Север, делают это не ради собственного удовольствия. Они бросают землю или, по крайней мере, правительственную компенсацию за нее и все-таки рады вырваться отсюда. Они ведь не дураки — когда вернуться, то приберут к рукам не только свое, но и соседское.

Здесь Рамон, как всегда, смотрит в корень. Он умеет вести дела, а люди, умеющие вести дела, разбираются в политике. Настал момент, когда надо уехать и присоединиться к тем, кто рано или поздно победит. Но боже ты мой! — семья разваливается! Они едва разговаривают друг с другом. Короткое су-

хое приветствие: «Как дела?»— и ни слова больше. Рамон теперь звонит ей по телефону, чтобы знать заранее, дома ли брат: «Блас Рока»* дома?» Это хуже, чем потерять деньги. «Если бы мы остались без единого сентаво на корабле без руля и без ветрил, но держались бы, как всегда, вместе, и то было бы легче». Но все шло вкривь и вкось. Теперь он спрашивает, дома ли брат, чтоб не встретиться с ним. Не будет ли дальше еще хуже? Не первый ли это, не тот ли это начальный шаг, который в конце концов приведет к тому, что в один прекрасный день, когда все упадут с небес на землю, когда самого Рамона отведут на стадион, где временно разместили задержанных, а позже станет известно, что арестован Пабло,— в один такой день Рамон заявит — скорее с гордостью, чем с болью — и потом многократно с той же гордостью повторит: «Пабло — вот кто мой истинный брат».

Да, с этого момента Пабло станет его братом. А он, его родной брат, останется один, один, как Робинзон Крузо, как старик Ной, еще более одинокий, чем они, одинокий, как никто на свете, хотя к этому времени Фермин еще будет считаться его другом — и, может быть, единственным,— потому что еще не настала минута, когда, столкнувшись с ним лицом к лицу и не имея возможности избежать этой встречи, скорее смущенный, чем обрадованный и уж во всяком случае без тени какого-либо энтузиазма, а с явным желанием поскорее отделаться, Фермин скажет:

— Я тоже собираюсь...

— Бог от нас отвернулся. Это все дела сатаны. Повсюду торчат его черные уши, он смущает кроткого, незаметно проникает в сердце доброго. Горе мне! Вдруг он тайно проник в сердце сына, и тот, сам того не ведая, превращается в коммуниста? Вдруг это так? Что делать, отец Эстебан?

— Вспомни святого Висенте де Паула: «Все в руках божьих». Но будь бдительна и не доверяй их лживым словам. Ты ведь знаешь, кто сейчас говорит с тобой его устами? Запомни, так будет до тех пор, пока длится ниспосланное ему испыта-

* Деятель рабочего и коммунистического движения на Кубе.

ние. Да пребудет с тобой господь!

Потом она никогда не сможет сказать, до какого момента бог был с ней. Может он покинул ее, когда она добиралась от Гаваны до Майями, от Майями до Нью-Йорка, а оттуда в Калифорнию и, наконец, в Техас? Она и дяди. А Рамон остался. Ему бы следовало возглавить этот исход, но он все организовал, а сам остался. Для чего? Для того, чтобы все кончилось так, как кончилось. Чтобы она, сжав губы, взглянула на него своими черными, как никогда огромными глазами, а потом сказала то, что не могла не сказать — он не мог узнать ее голос, — сказала, когда пришло время, желая того или не желая: «Андрес, ты знаешь насчет Рамона?» И еще для того, чтобы, не найдя в себе силы для ответа, он застыл на месте, ожидая, когда снова раздастся ее дрожащий, как бы через силу звучащий голос и произнесет непоправимые слова, зачеркивающие часть его жизни; и, наконец, для того, чтобы он отрицательно замотал головой, будто отгоняя от себя что-то, и с трудом выдавил: «Не говори ничего, малышка!»

Но это будет позже, и еще до всего этого, когда он уходил во второй раз, она тоже обращалась к нему, но говорила не так мрачно, а как бы расслабленно, возможно обессиленная беременностью:

— Ты уходишь? Но ведь ты только что вернулся!

Он не нашел, что ответить, и молча продолжал укладывать свои вещи в рюкзак, вслушиваясь в ее слова, а она все говорила, и на лице ее застыло удивление, а в голосе теперь сквозил оттенок отчаяния:

— Они едва разговаривают со мной. Обвиняют во всем меня. Они говорят, что, если бы я ушла, ты пошел бы за мной... — и, упав на кровать, со стоном закончила: — Они меня ненавидят! Ненавидят! Забери меня отсюда!

Да, минуло время Nautico's Bazaar. Началась жизнь. Тяжелая жизнь. Была ли она готова к ней? Нет. Жизнь застала ее врасплох. Она всех застала врасплох. Но для Лили все было еще тяжелее — из-за одиночества. Потому что для него как раз наступила пора, когда у него не было времени даже перевести дух: его то мобилизовывали, то демобилизовывали, то бросали

на организационную работу, то направляли на учебу. Тогда все было — или казалось — важным. Об отдыхе не приходилось и думать. В довершение всего с минуты на минуту ждали нападения. Положение было чрезвычайно напряженным и опасным. Дни проходили в изнурительном труде, не нашлось свободной минуты черкнуть несколько слов, чтобы дать знать, что он послан на работу в горы, и ему не удалось вырваться домой, ответить, когда получил известие, из-за которого впервые в жизни не смог заснуть всю ночь, он лежал без сна, и его переполняла радость за себя и особенно за нее, потому что теперь у нее будет о ком заботиться, кого любить, с кем ожидать его возвращения, теперь ей будет легче справляться со своим глубоким одиночеством; а она в этот самый момент, когда он, не сомкнув глаз всю ночь напролет, думает о ней, испытывая ни с чем не сравнимое счастье, она рыдает, скорчившись на кровати и впившись в себя ногтями, вспоминает слова шурина, вспоминает его сводящую с ума улыбку, запах мяты и лимона и особую интонацию, с которой тот говорит: «Твой муж — коммунист, он плохой сын. Он погубил нас всех, и ты тоже в этом виновата».

Если слова сказаны в одну секунду, значит ли это, что они будут звучать в твоих ушах лишь секунду? Какова истинная мера времени? Сколько его протекло с тех пор, как он высказал ей свои упреки, и до того момента, когда он вообще перестал к ней обращаться? Потому что наступит час и он больше не будет упрекать ее, а она больше не будет впиваться в себя ногтями, и ей станет безразлично, что шурин умолк — исчезла навсегда его сводящая с ума улыбка, — что он начал говорить о своем истинном брате Пабло, о новом кумире семьи, чьи фотографии замелькали на газетных страницах, — с опущенной головой, почти неузнаваемый, без улыбки, без обычной иронической усмешки он дает показания: «Я вернулся, чтобы бороться за свои земли...»

Вот почему, когда он возвратился во второй раз, тоже ночью, то несмотря на то, что его тело было разбито усталостью, а нервы измотаны тремя днями непрерывных боев, что в ушах еще звучал вой пикирующих самолетов, грохотали

выстрелы и взрывы, раздавались крики и стоны, несмотря на крайнее изнурение и даже на внезапную утрату чувства времени, его не покидало ощущение, что жизнь необратимо распалась на две части и уже ни объяснениями, ни спорами тут ничего не исправишь, остается лишь принять это как факт.

И он навсегда запомнил, как он стягивает сапоги, выкладывает пистолет, снимает с себя кепи и рубашку, зажигает свет — и сразу видит ее лицо, застывшее в ожидании, а другая бросается к нему на шею и говорит «папа», он гладит ее, прижимая к себе, а она все повторяет прерывающимся голосом «папа», целует его и вдруг ударяется в слезы.

Позднее, когда волнение немного улеглось, он услышал подтверждение своим предчувствиям:

— Он сказал только одно: «О том, что это коммунизм, тому типу не следовало бы говорить».

— А об отъезде?

— Ни слова.

— Это было бы лучшим выходом.

— Мне кажется, что это сон: ты снова дома, живой и невредимый...

Он долго не выпускает ее из объятий, похудевшую, с темными кругами под глазами, но непобежденную, ставшую для него источником новых сил; а она нервно, захлеб говорит что-то о дочери и заставляет его забыть о неизбежном столкновении. Тогда-то она ему и сказала:

— Наконец у нас будет хоть немного покоя.

А он — ведь в каком-то смысле она была для него островком земной тверди в этом бушующем мире, — крепко обнимая ее, повторил эти слова:

— Наконец у нас будет хоть немного покоя.

И снова — в который раз — ошибся.

Когда уже казалось, что одержана окончательная победа и можно вернуться к своей работе, завоеванное стало как бы утекать между пальцев, словно какая-то деталь механизма вышла из строя.

Было трудно понять этот новый поворот.

Дни проходили за днями, и положение становилось все бо-

лее напряженным. Создавалось впечатление, что враг, разбитый при вторжении, пытается теперь найти поддержку внутри страны, в наших рядах. Дошло до того, что даже хорошего настроения стали бояться — словно оно могло навлечь беду...

— Надо держать ухо востро...

— Если ты раньше не был табакеро*, можешь считать себя дохлой лошадейю на обочине.

А Давид со своей вечной улыбкой и насмешливыми глазами, как только появлялся преподаватель или командир, принимался напевать:

Попугай, попугай,
на прощанье лапку дай!

Но даже хорошее настроение Давида не выдерживало этой атмосферы напряженности. Творилось что-то странное — менялись многие понятия, и если действительность не казалась совсем беспросветной, то лишь потому, что все происходящее представлялось неправдоподобным.

Ему вдруг стало ясно, что от прошлого избавиться невозможно. Так же, как оказалось невозможным избавиться от слов Рамона, продолжавших звучать у него в ушах:

«Я рад. Тебе доставляло удовольствие губить нас. А теперь тебя самого погубят».

Не веря своим глазам, он смотрел с недоумением на лицо брата, искаженное гримасой не то злобы, не то радости, не то отчаянья. И снова звучал дрожащий металл его голоса, переходящего в сдавленный шепот:

— Это кара господня! Ты падешь еще ниже. Я увижу тебя поверженным, потому что, кто с мечом придет...

И когда он наконец прервал его — крикнул так, что прибежала она и прильнула к нему, успокаивая, а в лице Рамона мелькнуло выражение испуга,— и тогда он продолжал слышать этот сдавленный голос:

— Ты еще заплатишь за все! За все!

Да, положение было хуже некуда. Как говорится, одной ногой на отплывающей лодке, а другой — на причале. И когда

* Рабочий табачной фабрики.

он будет сидеть за партой, и потом, в болотах Съенаги*, ему станет ясно, что мир, который он пытался построить, этот мир отвергает его с недоступным для понимания упорством.

— Может быть, они правы, Давид. Может быть, и на самом деле нельзя доверять людям буржуазного происхождения.

Давид, не переставая насмешливо улыбаться, сдвинул фуражку на затылок, уставился в его расстроенное лицо и захохотал, заставив обернуться сидевших за шахматной доской:

— А что ты скажешь о таком буржуе, как я? Что ты скажешь о моем дворце из пальмовых листьев на полевой меже? И о всей жизни такого эксплуататора чужого труда, как я?

Он поднял взгляд и не увидел обычной насмешки в блестящих глазах Давида.

С этого момента он стал лучше, точнее сказать, более ясно видеть происходящее, потому что дело шло из рук вон плохо и положение с каждым днем осложнялось. И он спрашивал себя: когда все это кончится?

Но конца пока не было видно. Ситуация не только не улучшалась, а, пожалуй, становилась все труднее.

Время от времени в школе появлялся какой-нибудь товарищ по Сьерра-Маэстре:

— А ты здесь что делаешь?

— Прохожу курс обучения.

А потом лунной ночью, сидя прямо на траве и попыхивая сигарами:

— Тебе разве не все ясно?

— Меня, оказывается, нужно политически подковать.

— А где они были, когда шла стрельба?

— Тогда они занимались чтением, чтобы теперь учить нас.

Спротивление создает свою собственную веру. Вера, что все в конце концов прояснится, помогла ему вынести пребывание в Съенаге после его стычки с тем рябым командиром — никто не знал, откуда он взялся, — вера помогла ему понять, что наказание не имело отношения к этой ссоре и что рано или поздно — об этом уже говорили вслух — все станет на свои мес-

* Болота в районе Плайя-Хирон и бухты Кочинос.



Кабрера Морено. Бомбардировка

та. Так и случилось, но после многих жестоких испытаний. И, как бывает в жизни, все изменилось в один день. Это походило на сон. Вернее, тяжелым сном представлялось недавнее прошлое. Что он испытал при этом? Радость? Пожалуй, это не совсем точное слово, хотя, конечно, была и она. Скорее облегчение, будто у тебя наконец вырвали больной зуб.

Когда все улеглось — «распогодилось», как говорили в народе, — он вернулся домой. Лили готовила еду для дочки.

Она подумала, что из всех его возвращений это — самое грустное. Вернулся не герой, не победитель, но человек, утомленный тяжелой работой. Она старалась улыбаться, когда он попытался взять на руки девочку, которая его дичилась.

— Я ей не нравлюсь.

— Просто она к тебе еще не привыкла. Ты остаешься?

Он утвердительно кивнул головой. Она сказала, что нужно пойти поужинать куда-нибудь и что надо поторапливаться, иначе они нигде ничего не найдут. Что ж, так оно и было тогда, потому что времена по-прежнему оставались трудными.

В тот вечер они никуда не пошли, ему не хотелось уходить из дома. Он уселся в глубокое кресло — в то самое кресло — и вытянул ноги. Его пальцы, думал он, утратили чувствительность, они уже не могли ощутить бархатистость обивки, которую так чутко воспринимали раньше, и эта глухота рук к ворсистой мягкости плюша, вызванная тяжелым физическим трудом, как бы отмеряла дистанцию между двумя мирами.

Девочка уснула на ковре, где играла. Он все так же гладил плюшевую обивку, а она, сидя на полу и положив подбородок на колени, не отрывала от него своих черных глаз — таких красивых и таких усталых. Ее глаза и было последнее, что он видел в ту ночь: они смотрели со странной смесью любви, жалости и желания защитить, а потом стали расплываться, туманиться, отодвинулись и померкли в его сознании: он заснул...

И сейчас, не имея иной опоры, кроме тяжелых воспоминаний, не располагая ничем, кроме смутного представления о том, как много пережито, мог ли он установить точно, сколько времени прошло — два года? пять лет? а может быть, все десять? — после того возвращения. Теперь-то понятно, что вре-

мя — отнюдь не самый совершенный механизм и человек может измерять свою жизнь тысячью разных способов. Теперь это понятно. Но то его возвращение и другие тоже — как разместить их во времени? Какой поре они принадлежат — поре счастья, надежды, отчаянья? Или смутного ожидания?

В тот раз он прожил со своей семьей довольно долго, во всяком случае, достаточно для того, чтобы девочка привыкла к отцу, а он — к домашнему очагу или к тому, что от него осталось. В первое время ему стоило труда выходить по утрам с девочкой на руках, гулять с ней по парку, смотреть, как она бежит за порхающими бабочками, — точно так же, как в первые дни после возвращения ему стоило труда видеть улыбки друзей — слащавые и пустые.

— Сегодня у нас молитва...

— Что ж, прекрасно.

— Ты заметил, что с возрастом человек становится более религиозным? Должно быть, потому, что он ближе к смерти, тебе не кажется?

— Да, должно быть...

— Ну так идем, Мерей?

А если они не шли в церковь, то посещали какого-нибудь родственника из тех, что постоянно получали известия с Севера и втайне уже приготовились к отъезду.

— Надо навестить бедняжку Мерседес, ее совсем скрутил ревматизм.

— А сейчас не поздно?

— В таком климате нелегко вылечить ревматизм. Сухой воздух — вот что ей нужно. Но разве теперь кто-нибудь думает об этом?

— Пойдем же, Рамиро, а то будет поздно.

Таковыми они были все. Кроме Рамона. Тому нравились героические позы и фразы вроде «умереть последним, как капитан корабля». Он решил остаться, хотя никто так и не понял, почему. Он не уставал повторять, что умрет на Кубе, и в то же время именно он подбивал Фермина покинуть страну — тот уже вернулся на круги своя, раскаивался и сокрушался по поводу прежних настроений. Рамон давал ему практические советы,

обещал помочь в нужный момент. На ветровом стекле спортивной машины Фермина с откидывающимся верхом теперь была новая наклейка: «Мы — католики. В случае аварии просьба позвать священника». Когда они случайно встретились, выходя из ресторана, он радостно бросился к Фермину, но того как будто смутило такое проявление чувств, и он неопределенно улыбнулся:

— Я тоже собираюсь...

— Не знал.

— У меня отняли фабрику.

— А-а...

Он-де старался привыкнуть к «этому», но Хосефина больше не выдерживает: жизнь так трудна, особенно если есть дети: не достать ни ветчины, ни компотов, «а ты ведь знаешь, как люди привыкают к таким вещам», к тому же возникли трудности с государственным посредником, который ни в чем не разбирается и в один месяц развалил все дело.

— Если бы ты знал, как часто я теперь вспоминаю Паблито! Сбылись все его предсказания. Сам видишь. Раньше, когда мы были богатыми, мы держались вместе, а теперь, когда мы обеднели, нам тем более надо держаться друг друга.

Они переписывались. Советовались друг с другом. Друг другом восхищались. Прошлое осталось навсегда в прошлом. Теперь они все снова были вместе — Пабло, Фермин, Рамон и родственники, которые задержались в стране и теперь только и мечтали поскорее убраться. Они, казалось, лишь сейчас окончательно поняли, что былого не вернешь, их словно охватила лихорадка, даже самые миролюбивые, казалось прижившиеся в новых условиях, вдруг всполошились, без конца шушукались по углам: «А ты заметил, что у него глаза совсем сумасшедшие?» — все почувствовали прилив симпатии друг к другу, стали откровенными между собой, начали воскрешать забытые было обычаи и привычки — это таблетки для Мерседес, — ходили в гости, оказывали друг другу любезности, обменивались шутками, посещали церковь и вновь обрели вкус — те, кому это нравилось раньше, — к обсуждению достоинств исповедника.

— Никогда не думал, что кто-нибудь сможет заменить отца Эстебана.

— У тетушки Мерседес хороший глаз.

— Надо навестить ее. Вдруг она в чем-нибудь нуждается.

— Нет, нет, дорогая, к счастью, нет.

— Но это не составит никакого труда, тетя.

— Я бы тебе сказала.

— Все что угодно, ты же знаешь... А Хорхито?

— Не слишком хорошо. Не могу дождаться часа, когда мы попадем в такую страну, где мальчик сможет иметь друзей.

И мало-помалу они уезжали. Он и Лили узнавали об этом последними. Приготовления к отъезду велись тайно, отъезжавшие тайно передавали семейные реликвии, драгоценности, которые не успели продать, незавершенные дела в руки тех, кто остается — но лишь временно, ожидая своей очереди с уже готовыми документами на руках.

Старый дом колониальных времен день ото дня становился все более просторным, пустым, непривычным и все более дорогим сердцу. Каждое из прощаний — формально они не были прощаниями — приносило какое-то успокоение, но вместе с тем такое успокоение лишь обостряло тревожный, день ото дня все тревожнее, вопрос, который он старался отогнать от себя: теперь, когда все сбежали, почему Рамон по-прежнему остается?

Понадобится, чтобы прошли дни, недели, месяцы. Понадобится, чтобы он снова покинул семейный очаг, чтобы снова столкнулся с обстоятельствами, справиться с которыми не под силу одному человеку, чтобы он вернулся домой один раз, а потом другой, вернулся усталый, разбитый, измотанный бесконечным напряжением и бесконечным ожиданием смерти, понадобится все это, прежде чем он увидит ее черные глаза, такие прекрасные и такие усталые, и прежде чем она, желая того или не желая, должна будет сказать ему, потому что упали покровы и будущее утратило неопределенность, должна будет решиться и сказать ему: «Ты знаешь насчет Рамона?»

Но это, кажется, случилось позднее... Сняв сапоги, прислушиваясь к острой боли в спине и в шее, чувствуя боль в каж-

дой клеточке тела, он сидел в кресле и думал: «Неужели я в последний раз после долгого отсутствия снимаю сапоги в гостиной, чтобы не разбудить ее, когда буду ложиться?» И он вспомнил мгновенье,— сколько времени прошло с тех пор? сколько месяцев?— когда подумал, что это вовсе не он, Андрес, снимает сапоги, а кто-то другой, что, быть может, его самого уже нет в живых, и то, что происходит,— лишь сон того, другого, кто умер, даже не успев заметить своей смерти. Это было чувство, которое все они тогда испытывали.

Потому что никогда еще не ждали так терпеливо смерти, смерти, которая должна была быть всеобъемлющей и полной, не смертью одного человека, но смертью всего и вся. И все знали, что, когда настанет ее час, она не будет разбираться ни в именах, ни в званиях, для нее не будет ни смягчающих обстоятельств, ни свидетелей, она не оставит ни следов, ни очевидцев, ни воспоминаний. Смерть, не знающая пощады, не оставляющая надежды на то, что кто-то придет потом, отыскивая, находя, извлекая, восстанавливая стародавнее, придавая форму исчезнувшему. Смерть, обрывающая преемственность. Более жалкая, чем смерть таракана.

Всю ночь они смотрели на звезды, потом на утреннюю зарю, потом на солнце, а потом перестали ждать и принялись чертыхаться, потому что ожидание оказалось напрасным, и это было все равно что затянуть песню, чтобы прогнать страх, а может, и вправду после того, как человек привыкает к мысли о смерти, после того, как он в молчании испивает последний горький глоток прощания с миром и с жизнью, после того, как он переживает эти нескончаемые часы, смерть для него перестает быть ужасной, и он вдруг замечает, что ночь прошла впустую и он так и не смог поспать из-за каких-то паршивых сукиных сынов, а теперь, как назло, сна ни в одном глазу, одна только усталость, из-за которой он готов убить кого-нибудь, и тут-то до него, до всех нас доходит, что мы унизили себя, с таким смирением приняв свою участь, и, преисполненные негодования, мы восстаем против этой рабской покорности, которая представляется нам позорной данью, уплаченной нами некоему обнаглевшему фанфарону.

Все это произошло в течение одной ночи, долгой ночи ожидания в тот период, который в мировой прессе получил название Карибского кризиса*, а для тех, кто стоял у орудий, это была не ночь кризиса, а просто нескончаемая ночь, когда никто не мог сомкнуть глаз.

Но эта ночь не только осталась позади, она даже не вспоминалась больше. Такие моменты высочайшего напряжения почему-то забываются очень быстро. Теперь они уже далеко. Очень далеко. Потому что жизнь каждое мгновение создает новые сложности, завязывает новые узлы. Революция и ее задачи. Человек и его проблемы. И все проходит, остается позади, тает в бесконечной дали.

Так думал он, глядя на валяющиеся на полу сапоги, на брошенный на рояль ремень, на старую уютную мебель, на расплывчатые пятна картин; все тело мучительно ныло, и он прикинул, сколько осталось пройти до спальни и сколько усилий придется приложить для этого, соображая, не лучше ли растянуться на полу, прямо тут, закрыть глаза и погрузиться в сон, похожий на смерть.

Но он не рухнул на пол, не закрыл глаза, а вместо этого снова вспомнил то, другое возвращение, утратившее связь с определенным отрезком времени, оставшееся в памяти вечным, неизгладимым, начиная от щелчка выключателя, когда он зажег свет в комнате, и до его слов, сказанных глухим голосом, почти без выражения:

— Это я, малышка, не пугайся.

Однако она услышала и сонно пробормотала:

— Андрес, ты?

— Я, я. Спи.

Но когда он вошел, она уже сидела в кровати, а когда он целовал ее, крепко прижимая губы к ее щеке, ему показалось, что она не то озабочена чем-то, не то еще не до конца проснулась.

— Спи, малышка. Я сам хочу спать, как тысяча чертей.

* Октябрь 1962 года, когда агрессивные круги США, пытаясь задуть революцию, организовали блокаду Кубы.

Уже три дня я ни на минуту не сомкнул глаз.

Вот тогда-то, не глядя на него, будто пересиливая в себе что-то, она и должна была ему сказать — желая того или не желая:

— Андрес, ты знаешь насчет Рамона?

А он, не в силах ответить, замер на месте, ожидая, когда снова раздастся ее дрожащий, через силу звучащий голос, потом отрицательно замотал головой, будто отгоняя от себя что-то, и сказал:

— Не говори ничего, малышка! — и упал на подушку. — Погаси скорее свет...

Никогда еще он не испытывал такой усталости. Никогда у него так не болели мышцы, кости, внутренности. Он все глубже погружался в забытие, думая, что и этот миг он будет вспоминать потом — как бы выхваченный из времени, ни с чем не связанный, обособленный в пространстве и в его памяти, — а потом он тоже уйдет в забвенье, как и все другое, потому что жизнь в каждое мгновение создает новые сложности, завязывает новые узлы, и человек сам создает себе проблемы.

И он увидел лицо Рамона, с улыбкой, сводившей женщин с ума, и то же лицо с горькой складкой — когда Рамон заявлял, что его истинный брат — Пабло, и сразу в памяти всплыли лица Пабло, Фермина и властное и в то же время наивное лицо матери, и пока он погружался в лоскутный мир сна, на память приходили картины детства — вот он с неразлучным братом, одетые для первого причастия, они забрались на качели и что-то жуют, а рядом с этими образами возникли незнакомые лица, лица тех, кого он встретил в Сьерра-Маэстре, — голодных крестьян, истощенных детей, людей, в глазах которых умерла надежда. И еще он увидел самого себя, одинокого, очень одинокого, одинокого среди множества людей, но уже во сне сознавал, что это одиночество тоже останется позади, уйдет в бесконечную даль.

Одно из этих путешествий

— Мама, все улажено...

Тишина, сотканная из еле слышных звуков, снова наполняется тиканьем часов-кукушки, капаньем воды из крана, шуршанием ночной бабочки. После долгого молчания, не поднимая глаз:

— Ты хочешь сказать, что...

— Да.

Она роняет ножи и вилки на тарелку.

— Я не знал, как тебе сообщить. Потом решил, что лучше всего будет так — сразу.

Он запинается. Снова наступает тишина: тиканье часов, звуки капель, неумолчное шелестенье бабочки.

— С самого утра я собирался сказать об этом и все никак не мог решиться.

— Тебе будет хорошо...

На Гавану опустилась ночь, расцвеченная фонарями, окнами небоскребов, блестящими под луной плоскими крышами. Наступил час, как бы предназначенный для человеческого счастья: ночь приносила покой, покой и отдохновение от дневных трудов и забот. Сквозь открытое окно, за которым виднелся город, доносилось тихое дуновение морского бриза.

— Я столько времени ждал этого момента... Но не могу сказать, что мне сейчас хорошо.— Опустив голову, он рассматривает свои ногти, потом переводит взгляд на стоптанные туфли матери.— Я знаю, что причиняю тебе боль.

— Не думай обо мне, сынок.

— Уедем вместе, мама!

- Она слегка поворачивает осунувшееся лицо и отвечает:
- Ты знаешь, что это невозможно.
 - Ради меня, мама!
 - Все равно... Все равно невозможно, сынок.
 - Мы были бы вместе.
 - А другие?
 - Мама, разве ты не понимаешь, что это — не жизнь?
 - Моя жизнь была в том, чтобы находиться рядом с твоим отцом, вести этот дом, а когда отец умер — чтобы быть с вами. Это совсем не легко. Если сейчас вы разлетаетесь в разные стороны, я должна примириться с этим. Но мое место — здесь. Это мой дом, и он всегда будет домом моих сыновей. Все равно — уходят они или остаются.
 - Но это уже не прежний дом. В него попало яблоко раздора. И все из-за них, они изменились.
 - Да, они изменились, и ты тоже. Все меняется.
 - Я остаюсь верным своим принципам. А они отреклись.
 - Да, они думают по-другому, а ты живешь так, будто ничего не изменилось.
 - Мама, я решил побороть безумие, которое овладело ими. Да, это безумие, уверяю тебя.
 - Ты не принимаешь их такими, какие они есть. Видишь, ты тоже отрекся. Ведь они твои братья.
 - Слышно, как капли ударяются о раковину, как булькает в трубе вода. Он закуривает сигарету.
 - Не думай, что мне легко.
 - Сейчас самый трудный момент. Это пройдет. Ты найдешь свою дорогу, и со временем, когда все уляжется, тебе станет легче.
 - Но оставить тебя...
 - У каждого своя судьба. Моя судьба — видеть, как вы разлетаетесь. И я принимаю ее. Я не хочу, чтобы все были вместе ценой счастья кого-нибудь одного.
 - Юноша уперся локтями в стол, опустил лоб на ладони.
 - Не знаю, стоит ли говорить о счастье?
 - О чем же стоит тогда говорить?
 - О вере.



Карлос Энрикес. Пейзаж

— Разве ты не отказываешься от веры, когда она не дает тебе счастья?

— Мама, я не железный. Ты думаешь, мне не больно с тобой расставаться? Ты думаешь, я такой же, как они — эти роботы, дрессированные обезьяны, повторяющие заученный урок?

— Будь сильным, сын. И главное — относись к жизни с доверием. Ты делаешь важный шаг. Не падай духом. Пусть ты будешь самым счастливым человеком в мире. Счастливым потому, что оставляешь то, что хочешь оставить. Счастливым несмотря ни на что.

— Это нелегко, поверь мне.

— Ты должен сделать этот шаг с радостью.

— Да, должен, но во мне нет радости. До сегодняшнего дня у меня было много забот: приходилось преодолевать трудности, устранять препятствия. Кажется, я слишком быстро достиг цели. Я не думал, что будет так тяжело расставаться со всем. В один прекрасный день вдруг оказывается, что отступать уже поздно; тогда начинаешь понимать, что остается позади...

— Вспомни про жену Лота.

— Это не то. У меня впереди будущее, я построю его своими собственными руками. Я сам выбираю себе жизнь. Я не превращусь в соляной столб.

— Когда ты так говоришь, я чувствую облегчение.

Он погасил сигарету о тарелку и с силой выдохнул дым. В первый раз их глаза встретились. Серые глаза матери были сухими, но не задерживались подолгу ни на одном предмете, словно избегая тягостных воспоминаний.

— А знаешь, мама, я думал, что ты будешь больше страдать.

Она смахнула крошки со скатерти.

— То же самое ты скажешь своим братьям?

— Не хочу, чтобы снова начались споры. В них нет никакого смысла. Мы уже не те, что раньше.

— Ты упорно стоишь на своем. Пойми, мы все те же. В человеке есть что-то, что не может меняться. Вы никогда не

перестанете быть моими сыновьями. Я все еще вижу вас маленькими, как вы играете, и...

— Зачем себя обманывать? Семья распалась.

— Они твои братья!

Он взглянул на нее почти с горечью, потому что знал, что любовь не вечна.

— Ты не замечаешь того, что произошло между нами, потому что живешь в своем замкнутом мире.

— Есть вещи, которых я никогда не пойму.

— Мы живем в разных измерениях. У меня есть моя вера, а у них так называемые новые убеждения. Ну и на здоровье! Но между нами — пропасть.

— Сын, твоя вера пребудет с тобой, где бы ты ни жил... Креститель сохранил свою веру в пустыне.

При последних словах матери он резко вскинул голову и поднял руки:

— Пожалуйста, не усложняй все еще больше.

— У других тоже есть вера, и не меньше, чем у тебя, но они не уезжают.

— Тем хуже для них.

Он закурил другую сигарету и на этот раз с раздражением швырнул спичку на пол.

— Тут много разных причин. Мои взгляды, конечно, главное, но есть кое-что и другое. Разве ты не видишь, что они, которые так ненавидели солдатчину, сами стали теперь образцовыми солдатами? Я не собираюсь повторять то, что ты знаешь не хуже меня. Я хочу дышать! Хочу стать чем-то, иметь машину, дом, яхту, не знаю что там еще!.. Одним словом, того, что не похоже на эту серую жизнь...

Ее губы побелели и сжались в узкую полоску.

— Если ты хочешь именно этого и не можешь добиться того, что хочешь, здесь, то тогда тебе лучше уехать...

— Ты знаешь, что здесь невозможно добиться этого. Вообще ничего!

— У твоих братьев есть другое.

— Да, у них есть ночные дежурства, военные учения и кружки, где им забивают головы всякой чепухой, как карма-

вальным куклам. Вот что у них есть. Да еще гордость тем, что они оставили веру. И иллюзия — что из них вырастут великие герои, спасители Отечества...

— Возможно, что они и ошибаются, но если ты...

— Что?— спросил он, бросаясь в кресло.

— Я вижу, что ты расстроен. Я хочу, чтобы ты сохранил свою твердость.

— Ведь я — совсем другое дело, мама. Я уйду — они остаются.

— Когда произошли события на Плайя-Хирон, Алехандро собирался идти воевать, и при этом он оставался веселым.

— Потому что он ненормальный, мама, потому что он сумасшедший! Идти убивать и оставаться веселым! Но разве в безумии есть какая-нибудь заслуга?

— Он не ходил убивать, он был у себя дома, на своей земле, когда другие пришли к нам убивать. Алехандро защищал отечество. Это надо уважать.

— Он был готов убивать!

— ...Защищая отечество. Это надо уважать.

— К чему этот спор? У меня нет радости, у них она есть. Разве это что-нибудь меняет?

— Ты прав. Не будем спорить. У нас остается так мало времени.

— Ты дашь мне кофе?— Он попытался улыбнуться.

— Если еще осталось.

Он хлопнул рукой по столу.

— Вот видишь, как мы живем? Я устал от карточек, от нищеты. Я буду присылать тебе все. Подумай и скажи, что тебе нужнее всего.

Мать поставила на плиту кофейник, который держала в руках, и опустила голову.

— Как ты можешь быть таким жестоким? Ты уходишь от меня и не находишь ничего лучшего, как напоследок говорить со мной о туфлях, консервах, шоколаде? Неужели я могу думать об этом?

— Прости меня. Я не хотел тебя обидеть.

Он подошел к ней, обнял за плечи.

— Я знаю.

— Ты не разлюбишь меня? Это трудный момент для нас обоих.

— Ты сделал все что мог, чтобы не разлучаться со мной. Если ничего не получилось, это не твоя вина. Никто не должен отказываться от своей жизни ради другого.

— Как мне хотелось бы, чтобы эти слова были сказаны не только ради утешения. Ты не будешь слишком сильно страдать из-за нашей разлуки?

— Я забыла о кофе. Подожди минуту!— Она сняла с огня кофейник.— Закипел. Осторожно, не обожгись.

— Мне будет его не хватать.

Она мягко прошлась рукой по его волосам. Он взял ее другую руку и поцеловал.

— Не думай, что я не страдаю, но я рада. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Мне хотелось бы, чтобы около меня...

— Бесполезно, мама. Это доставит нам только боль. Я не хочу больше говорить. Я ухожу, вы остаетесь. Вот и все. Папа умер, а жизнь шла своим чередом, хотя казалось, что это невозможно.

— Что ж, можно и так смотреть на вещи.

Наступило молчание. Он ждал, пока остынет слишком горячий кофе. Из крана капала вода.

— Похоже на дождь. Водопровод...

— Я передержала кофе на огне. Не знаю, каким он получился. Когда ты был маленьким, ты всегда обжигался. Был такой жадный. Мне нравилось, что ты такой. Есть одна фотография, очень милая, снятая в день твоего рождения, помнишь? Тебе исполнилось пять лет, ты ешь торт «безе». Надо найти ее.

— Она в альбоме.

— Я поищу ее. Когда ты уезжаешь?

— На следующей неделе за мной приедут. По-моему, я видел ее в зеленом альбоме, в самом маленьком, в темно-зеленом.

— Так скоро?

— Я получил телеграмму.

— Пора собирать твои вещи.

— Все собрано. Да и не так уж много вещей я могу взять с собой. Только самое необходимое. Никак не найду пляжную сумку.

— Может быть, она у твоих братьев. Я у них спрошу.

— Не надо, я не хочу, чтобы они знали. У меня нет сейчас сил на споры.

Он протянул руку и взял ее за кончики пальцев.

— Мама, я не нашел одну вещь, а она для меня так много значит. С ней связаны воспоминания, и я хотел бы взять ее с собой. Ты помнишь надпись на фарфоровой чашке, которую я привез из Рима?

— «Что никогда не оставит тебя в жизни? Глаза бога, которые всегда тебя видят, и сердце матери, которое пребудет с тобой, куда бы ты ни пошел».

Мать произнесла эти слова негромким голосом, стоя почти вплотную к сыну, бессильно опустив руки вдоль тела. Он обнял ее. Он — большой и красивый; она — маленькая, совсем затерявшаяся в его руках.

— Мама, ты всегда со мной. Пожелай, чтобы бог меня не оставил.

Его повлажневшие синие глаза с мольбой взглянули на мать.

— Да, сын. Я всегда буду с тобой, где бы ты ни был... А что касается бога, не проси меня. Пойми, ты научил меня не верить.

В смертный час

Я думал, что больше никогда о нем не услышу. То есть не то чтобы я так думал, просто мне ничего не хотелось о нем слышать. Для чего, скажите, ворошить прошлое? Оно ведь ушло, даже само слово говорит об этом: про-шло-е. Хотя на самом деле, как вы знаете, ничто никогда не уходит совсем. Нравится вам это или не нравится, прошлое не умирает, оно остается с нами. И я, в общем, даже не могу сказать, хорошо это или плохо, потому что, если у нас нет воспоминаний, то выходит, что мы вроде бы бросали прожитое в дырявый мешок. А с другой стороны, иногда воспоминания, как острый нож, к примеру, такие, что мучат меня сейчас.

Хоть вы и не признаетесь в этом, я-то знаю, как вы заняты. Работать по плану — дело нешуточное. Но он обратился ко мне с просьбой, и я хочу ее выполнить. Похоже, что он ждет смерти. По крайней мере, так сказал человек, который пришел от него с поручением. Да... Видно, все обстоит гораздо хуже, чем можно было ожидать. В одном он может найти утешение: умереть своей смертью, в постели, на чистых простынях — это не подыхать, как собака, в пыли, на земле, изрешеченному пулями, когда истекаешь кровью и напрасно ждешь, что кто-нибудь придет на помощь или хотя бы закроет тебе глаза. Конечно, каждый человек в конце концов должен научиться смотреть смерти в лицо. Но умирать, когда не от кого ждать спасения, чувствовать, как жизнь покидает тебя вместе с кровью, которую не впитывает вытоптанная и выжженная земля, — вот что страшно. И еще страшнее знать, что те, кто тебя убил, спокойно уходят в горы, думая лишь о том, чтобы поскорее добраться до места, свалиться и уснуть после

тяжелого дня; что они ни разу и не вспомнят о том, кто лежит ничком в луже застывающей крови. Сравните одно с другим, и вы сразу поймете, какая это великая вещь — умереть в постели, среди людей, которые борются за твою жизнь, не спрашивая о том, достоин ли ты того, чтобы спасти тебя от смерти. Потому что те, кто спасает человеческие жизни, чисты, как чистые простыни. По правде говоря, только такие люди и должны были бы жить на свете.

Подумать только, ведь он мой брат. От одного отца и одной матери. Вместе росли, вскормлены одним молоком. И вот — сами видите. Загадка природы. Почему на одном и том же кусте одна юкка твердая, другая — мягкая? Почему один щенок — сама верность, а другой однажды ночью вдруг убегает в лес? Загадка. По крайней мере, для меня. На свете много загадок, а насчет щенка и юкки — самая большая.

Бывает, что человеку приходят в голову мысли, от которых он становится или мягким, как воск, или злым, как цепная собака. Плохо то, что иногда такие мысли будто бы и не наши. Их порождает не сам человек, а свойственное ему легкомыслие. Потому что, восхищаясь кем-нибудь, мы порой не задумываемся, что восхищение может оказаться для нас чем-то вроде приманки, на которую мы клюем. И вот уже, сами того не замечая, мы начинаем разговаривать, как этот человек, хотели бы одеваться, как он, носить такую же шляпу, а дальше — больше: мы уже мечтаем иметь и такую же лошадь, и такой же дом, и даже подружиться с ним.

С ним, моим братом, произошло именно это — ни больше, ни меньше. Мы жили тогда в ущелье около пальмовой рощи. Нет, теперь это место не увидишь, я ведь рассказываю о том, что было раньше, когда еще не построили плотину. Наш дом стоял вон там, как раз на том месте, где теперь ловят форелей. Я говорю — дом, на самом деле это была обычная хижина — байо. Но мы всегда называли ее домом — ведь мы там родились, выросли и стали мужчинами. Так вот, прямо около нашего дома проходила дорога, и мы часто видели, как по ней проезжал джип Нено Малагона. Брат всегда здоровался с Нено Малагоном. Не знаю, почему ему пришлось в голову здороваться

с этим типом, который пронеслся мимо нас в своем джипе, жуя сигару, оставляя за собой облако пыли. Но брату все равно нравилось здороваться с ним. В то время я уже знал от отца, что такое батрак и что такое хозяин, вроде Нено Малагона. До брата же это не доходило. Правда, он был тогда еще маленький. Но правда и то, что до него ничего не дошло и позже, спустя годы, когда все уже хорошо во всем разобрались.

Не буду вас утомлять, расскажу только главное. Когда пришла революция, Нено Малагон заметил наконец существование брата и не только стал здороваться, но и останавливал перед ним свой джип и увозил его, ошалевшего от счастья, к себе в дом. Да, в этот огромный дом. В этот самый. Сейчас-то в нем, конечно, все по-другому. Та сторона, что выходит на посадки, перестроена. Раньше дом кончался там, где теперь находится касса. Стоянку для машин соорудили потом. А на месте клумбы с гладиолусами и лилиями росло огромное манговое дерево, в его тени укрывался весь дом. А теперь заметьте, какие бывают у людей причуды. Сейчас вам расскажу. Один раз я отправился за братом, признаюсь, мне не нравилась его дружба с хозяином усадьбы. В то время всем уже стало ясно, что к чему: люди понимали, что начинается новая жизнь, и не хуже других в этом разбирались сам Нено Малагон и его друзья.

В тот вечер я пришел к нему домой и впервые в жизни переступил этот порог. Я назвал себя, и меня тут же впустили внутрь. Там я его и увидел, своего брата: он сидел в кресле вытянув ноги, будто тоже был хозяином. Он был один, однако другое кресло еще покачивалось, когда я вошел, и я догадался, что Нено только что встал с него и, наверное, не успел отойти далеко. Да, вот тут-то и начинаются чудеса. Как раз оттуда, где теперь разбита клумба, из сумрака, сгустившегося под манговым деревом, донесся голос Нено Малагона: он приветствовал меня любезно, точно и со мной был не прочь завести дружбу. А чудеса заключались вот в чем: хотя Нено Малагон был богачом и имел роскошный дом, он любил мочиться под манговым деревом, и ничто не могло его заста-

вить справлять нужду где-нибудь в другом месте. Понимаете? Это — еще одна загадка. Конечно, меня в тот момент занимала другая загадка — дружба между ними. Когда Нено вернулся, они переглянулись, и в глазах одного я прочитал вопрос: «А этот... зачем он сюда явился?», а на лице другого ответ — эдакая беглая улыбка и легкое сожаление: «Не обращай внимания, этот простак ничего не понимает». Но вслух он сказал совсем другое. Он поставил стакан на стол и взглянул на меня с серьезным видом: «Ты за мной? Ну что же, пойдём». На обратном пути я выложил ему все, что думал. «Скажи, — спросил я, — что у тебя общего с Малагоном? Он — богач, а ты чуть не умираешь с голоду. Кроме того, всем известно, что он связан с контрреволюционерами...» Но я видел, что он меня не слушает. Не хочет слушать. В глубине души он презирал мои слова, как и все, что мне было дорого. Убедить его в чем-либо было делом безнадежным, все равно, к примеру, как уговорить самого Малагона стать сторонником революции. Это был наш последний разговор о политике. Он мне сказал тогда, как отрубил: не хочу, говорит, исходить потом под солнцем, никто, говорит, не заставит меня жить такой жизнью. Так и сказал. А на следующий день рано утром за ним заехал сам Нено Малагон. Я выглянул на улицу и увидел, как брат садится в джип.

С тех пор прошло больше двадцати лет. Моему сыну было бы сейчас тридцать шесть лет, точнее, почти тридцать семь. И вот теперь я получаю весть о брате. Ее принес сын Синесио, того самого, у которого когда-то была здесь лавка. Он сейчас прибыл сюда с группой туристов проведать семью и, не знаю уж, как ему это удалось, разыскал меня. У него было поручение ко мне от брата. А я, представьте, выслушал его, не моргнув глазом, выслушал весь его рассказ: и что брат болен, что у него плохо с сердцем, и уже не в первый раз, что он живет на деньги от страховки. Я стоял в дверях и даже не пригласил его в дом и, пока он говорил, соображал, что я ему отвечу, когда он кончит. Я, признаться, подумал, может, не нужно было вступать с ним в этот разговор. Но когда он кончил, я сказал, что согласен, что выполню просьбу,



Кабрера Морено. Крестьянская милиция

пусть он перед отъездом в Штаты снова зайдет ко мне, это недалеко, всего два-три квартала. Ну да, я сказал, что выполняю просьбу. Поэтому я сейчас здесь.

Конечно, это не легко. С каждым днем воскресают воспоминания, они становятся такими живыми, что не похожи больше на воспоминания, и вот уже кажется, что жизнь повторяется снова. И что снова мне предстоит остаться одному. Навсегда одному, со своим горем.

Да, в те времена вы тоже ходили по этим горам. Но вы были по ту сторону Сьерры. Я как-то раз даже заходил в ваш лагерь. Вы, наверное, в то время и не думали, что когда-нибудь снова окажетесь в этих местах. Я оставался в лагере недолго, я был тогда проводником при отряде. С вами мы тогда не познакомились. По правде говоря, я и не хотел ни с кем знакомиться, у меня в то время было только одно желание — поскорее снова тронуться в путь. Я думал только о том, где лучше подняться в горы, где спуститься, как сократить дорогу, и при этом все время втягивал в себя воздух Сьерры — принюхивался, как собака, когда ищет след. Но мне не очень-то везло. Честно говоря, совсем не везло. Такая была у меня голова. Я тогда спал в обнимку с карабином, но чаще всего воспоминания не давали мне уснуть, и тогда я колотил карабином себе по голове, чтобы не заплакать от ярости. От ярости или от чего-то другого — трудно сказать. Не было мне дано ни нюха, ни удачи, ни спокойствия. За все время, что я ходил по горам, мне не попался ни один контрреволюционер. Теперь-то я думаю, может, это к лучшему. Позднее я уразумел, что даже на войне не следует убивать во гневе. А ведь я бы убивал именно так, только так и не иначе.

К тому времени у меня уже не оставалось сомнений. Поначалу-то еще теплилась надежда, что он не был убийцей. Я думал, стоит нам его поймать, и все решится само собой. Да и в голове не укладывалось, что все может так обернуться. Хотя плохие новости приходили каждый день, и все они были связаны с его именем.

Потом все сразу изменилось. Когда это случилось с мальчиком... Я мог ожидать чего угодно, только не этого. Я почувство-

вал себя одиноким, опустошенным, что ли, и чтобы не ощущать этой пустоты, я заполнил душу ненавистью. Начиная с этого момента я думал только о том, как отыскать их в горах. Поверьте, самыми тяжелыми для меня были минуты, когда нам приказывали остановиться на отдых. Мне хотелось иметь тысячу ног и тысячу рук, чтобы самому зажать их в кольцо. Я и не знал, что ненависть может придать столько сил. Чем больше любишь, тем сильнее ненавидишь. Этого я тоже не знал.

Не совру, если скажу, что у меня всегда болело сердце за сына. Он потерял мать, когда был еще совсем маленьким, и мне было приятно видеть, что брат постоянно с ним возится: выкроит, бывало, время и на речку с ним сбегать, и научить его ездить верхом. А еще мне нравилось, что люди не сразу разбирались, кто из нас двоих отец ребенка. Но со временем я стал больше беспокоиться за брата, чем за сына. Наши отношения ухудшались, хотя он все так же любил племянника и временами мы забывали наши споры и разногласия. Однако я тревожился, потому что мне было известно, как глубоко укоренились в нем идеи Нено Малагона. Я тогда уже понимал, что идеи могут быть заразными. Это не выходило у меня из головы, к тому же пошли разговоры о контрреволюционерах в нашей зоне.

Их называли по именам и фамилиям. И почти все они были наши земляки. И если раньше мне не давали спать мысли о брате, теперь к ним добавился страх за сына — как бы он не пошел той же дорожкой. Иногда, правда, страх меня отпускал. Я разговаривал с мальчиком обо всем, говорил, что наша жизнь изменится, что у нас будет школа. И ему это нравилось. Но потом, по вечерам, я снова видел его с братом, и опять лишался покоя. Что-то мне говорило: это не кончится добром.

Сын, как и я, стал милисиано. По годам он был еще мальчишка, но на вид совсем мужчина. Сами понимаете, как я им гордился. Видите ли, мы, крестьяне, имеем дело с самой жизнью — с растениями, с животными. Мы любим это. Так приятно, когда своими руками помогаешь земле цвести. Если человек может гордиться плодами манго, или агуакате, или

мамея, которые он сам вырастил, то представьте себе его гордость, если он вырастил сына, юношу, который вот-вот станет мужчиной. Мы вместе записались в милисиано. Нет, не то чтобы к этому относились с недоверием, просто еще не привыкли, все было внове. Мы, крестьяне, предпочитаем торные дорожки. И стоит хоть немного выбиться из колеи, как нам становится не по себе. Я, конечно, говорю о том, что было раньше. Теперь-то все изменилось. Даже старый Падрон и тот ездит в социалистические страны. Но я рассказываю о первых годах. Тогда людям в горах наш с сыном поступок показался странным. Ведь нужно было бросить землю, носить оружие и все такое. Я говорю о том, что было в самом начале. Позже, когда объявились повстанцы, все разобрались, что к чему. В тот вечер мой парень пошел со мной на собрание. Я взял его с собой, чтобы он сам приобщался к революции. К тому же мне хотелось незаметно отдалить его от брата. Ну ладно, когда предложили записываться в милисиано, я первый поднял руку, говорю это не ради хвастовства. Лейтенант меня поздравил, и не успел я опомниться, слышу, он поздравляет моего парня. Я обернулся и вижу: руку-то он поднял, а смотрит на меня, боится, что я вдруг на глазах у всех запрещу ему вступать в милисиано. Трудно передать, что я почувствовал тогда. Никогда не забуду этого взгляда. Он смотрел на меня, как настоящий мужчина, принявший важное решение, и как ребенок, который не хочет разлучаться с отцом. Я еле сдержался, чтобы не обнять его тут же, при всем народе, но постеснялся. До сих пор не могу простить себе этого. Вот его-то они и убили, моего мальчика. Настоящего мужчину.

Я и сейчас спрашиваю себя: если они ненавидели меня, то почему убили его? Наверное, они хотели не моей крови, а моей боли. Если они хотели этого, то они своего добились. Поэтому-то, думаю, они и дожидались момента, чтобы я ушел из дома. Я услышал выстрелы, когда был уже далеко. Хотя я сейчас неверно сказал, что услышал выстрелы. Я их почувствовал. Даже моя лошадь, с ее чутким слухом, даже она ухом не повела. Я натянул поводья и стал вслушиваться. Все тихо, только лес шумит. Но что-то внутри подсказало мне,

что прозвучали выстрелы, прозвучали как раз в той стороне, где находился мой дом. Сердце не обмануло: мальчик был изрешечен пулями.

Что может быть для отца горше такой минуты? Винтовка еще не остыла, казалось, что она живая. Я нашел записку: его убили потому, что он был милисиано и сын коммуниста. Мне тоже грозили смертью. Если бы они знали, что ничего другого я тогда не желал!

Нет, не думаю, чтобы это сделал брат. Трудно поверить в это. И зло имеет свои границы. Но что тут говорить: вы не хуже меня знаете, что он был главарем бандитов в нашей округе. Нено Малагон, после того как организовал шайку, уехал, а брата оставил вожаком. А вожак должен знать, что делают его люди. Поэтому какая мне разница, сделал он это своими руками или нет.

Сын Синесио говорит, что брат почти не встает с кресла. Говорит, скоро ему конец. Он все время думает о приближающейся смерти. И о земле, которая его примет и накроет. Так вот как раз об этом и речь. Брат просит у меня земли, сын Синесио говорит — там так принято. Он сказал, что именно за ней и приехал. Чтобы, когда придет час смерти моего брата, бросить на могилу горсть кубинской земли. Сколько они ее оставили здесь, а теперь рады и одному кувшину с родной землей. Ну да ладно, они теперь далеко. Речь о том, что брат просит у меня кувшин земли с того места, где он родился. Я согласен выполнить его просьбу, но не могу послать ему землю, на которой стоял наш дом, потому что после постройки плотины участок ушел под воду. Но суть не в этом. Эта земля полита кровью моего сына. Для меня она самая чистая на свете. Вот я и пришел к вам, чтобы вы мне разрешили взять немного земли с клумбы, где растут гладиолусы и лилии. Оттуда, где раньше стояло большое манговое дерево Нено Малагона. Лишь такой земли заслуживает брат, и я хочу послать ему то, чего он достоин.

Окно на лужайку

Она прошла метелкой из перьев по пианино. Чувствуя спиной, что старуха следит за каждым ее движением, спросила:

— Не хотите чашечку кофе, сеньора?

Ожидаемого ответа не последовало. Стало ясно, что к старухе надо подступаться по-другому, и она снова спросила:

— Вы играете на пианино?

У искусства войти в доверие есть свои секреты. Однако какой бы путь вы ни избрали, всегда требуется упорство и терпение, умение обхаживать нужного человека до тех пор, пока какой-либо ваш жест, вопрос или что-нибудь еще в этом роде не вызовет ответный отклик в его душе, вот тогда-то и устанавливается согласие, наводится мостик, по которому можно пройти до всего остального. Она спросила: «Вы играете на пианино?» — и такой вопрос не мог остаться без ответа, а если бы вдруг и остался, то это тоже по-своему решало бы дело.

Старуха, сидя в качалке, смотрела, как движется метелка — беспокойно, слишком быстро, даже подозрительно быстро. Она слышала вопрос, он все еще звучал у нее в ушах: «Вы играете на пианино?» — именно так, слово в слово. Как можно быть такой бестактной? Ведь это, в сущности, все равно что спросить ее прямо: «Как вы себя чувствуете после того, как потеряли ее?»

На некоторые вопросы трудно ответить, не оказавшись втянутым в разговор, который — стоит только его начать — может завести слишком далеко. А вместе с тем нельзя просто сказать «нет» и поставить на этом точку. Разве она не играла на пианино, как никто другой, как она вообще делала любое дело, доводя его до полного совершенства? Ее отсутствие ничего не значит. Напротив. Если следовать логике — но существует ли

в мире логика?— не ей должен был выпасть жребий умереть первой. Нет, в мире нет логики и никогда не было. На тот вопрос можно было бы ответить только так: «Это она играла на пианино! Она! Вы понимаете, что я хочу сказать?» Но разве можно быть уверенным, что нескольких слов будет достаточно для того, кто ничего об этом не знает.

Тем временем девушка обмахивает пианино, орудуя метелкой с той излишней энергией, которая наводит на некоторые подозрения (так обычно ведут себя служанки, имеющие виды на более выгодное место), а за ее спиной — старая женщина, окаменевшая от невинного вопроса: «Вы играете на пианино?»... Охваченная вихрем воспоминаний, она борется с искушением.

Кажется, что она прислушивается к какому-то неясному шуму. Будто она снова на корабле, в открытом море, среди непроглядного тумана, силится угадать, откуда доносится звук сирены. Она уже готова прошептать: «Ты тоже ее слышала?»— и, не дождавшись ответа, добавить: «Ах, эти морские путешествия зимой всегда меня так пугают...» Та ей тогда не ответила. Она знала, как боязлива старая женщина, и не ответила. У нее был удивительно чуткий слух, и она прекрасно слышала, откуда идет звук, но она молчала, чтобы не пугать старую женщину, она молчала и, несмотря на опасность, улыбалась.

— Конечно, я не играю на пианино,— ответила старая женщина.— Мне ли играть на пианино?

Девушка повернулась, чтобы поправить цветы на полке. У нее красивые глаза. Теперь их хорошо видно. Жаль только, что густые брови придают какое-то жесткое выражение взгляду. Но он смягчается, когда она начинает говорить:

— А почему бы вам не играть на пианино?

— Нет. Это она играла на пианино. Она! Неужели не понимаешь?

У девушки черные глаза, глубокие, красивые. Густые брови придают лицу суровое выражение, которое не вяжется с мягким взглядом. Глаза прекрасные. Сейчас они смотрят удивленно, почти изумленно, с простодушным недоумением.

Ясно, что она никогда не сможет понять всего, даже малой доли ей не понять, сколько ни толкуй. Впрочем, ведь любовь

не объяснишь. И особенно когда речь идет о натурах исключительных, объединенных не только узами крови, но и духовной близостью, и общими вкусами. Понадобилось бы рассказывать все с самого начала, с мельчайшими, на первый взгляд незначительными, подробностями. Как признаться, что глаза этой девушки воскрешают в памяти другие глаза? Особенно если смотреть, как она, опустив ресницы, поправляет в вазе цветы. Несмотря на густые брови, поневоле вспоминаешь те глаза, другие...

Надо бы попросить ее, чтобы она не двигалась, хоть на мгновение застыла в этой позе. Чтобы не меняла положения, стояла бы, как стоит сейчас: не поднимая глаз, не шевелясь, словно зачарованная. Будто дожидаясь волшебных слов, которые пробудят ее: «Дочка... О чем ты задумалась?», и тогда она улыбнется самой нежной своей улыбкой, улыбнется, как могла бы улыбаться только та, проснувшись со словами: «Ах, мама, это ты...»

Девушка оставила цветы, казалось, она пыталась спрятать довольную улыбку.

— Она?

Она — это ее дочь. Она единственная, кто играл на этом пианино. Она была отмечена высоким даром. Она до сих пор одухотворяет это жилище, каждую вещь в доме, где все устроено и расставлено по ее вкусу и желанию, где она продолжает жить в воспоминаниях, в портретах, в окутавшей дом тоске, в том, как стоят цветы, и даже в рассеянном свете, что пробивается сквозь навсегда задернутые шторы.

Одни вспоминают лица, руки, жесты, голоса умерших. Некоторые помнят не внешний облик, а мысли, речи, поступки. Старая женщина живет одной всепоглощающей мыслью, которая в ее сознании объединяет и то, и другое в единственный и неповторимый образ родного существа. Мать говорит «она» — и умершая дочь воскресает, начинает жить молчаливой всепроникающей жизнью.

— Она всегда мне говорила: «Мама, тебе нужен кто-то, кто был бы с тобой. Ведь я не буду жить вечно». Вот что она могла сказать — и при этом совершенно спокойно, в лице у нее, бы-

вало, ничего не дрогнет, просто обернется, посмотрит озабоченно, и только.

Чтобы добиться своего, требуется немало упорства и терпения, умения обхаживать нужного человека до тех пор, пока какой-либо ваш жест, вопрос или что-нибудь еще в этом роде не вызовет ответный отклик в его душе, вот тогда-то и устанавливается согласие, наводится мостик, по которому можно пройти до всего остального.

До всего остального. А что такое все остальное — это уж яснее ясного. Он все точно выведаль. Комната старухи направо по коридору, ведущему на террасу, обращенную к морю. Старинный шкаф — все в этом доме старинное — с тремя стеклянными ограненными створками, доходящий до потолка, ключ в замочной скважине. Только одно внушает подозрение: если все так просто, почему никто другой до этого не додумался?..

С того места, где стояла девушка, видна была приоткрытая дверь спальни. Шкафа отсюда не рассмотреть. Его можно увидеть из коридора, если встать напротив спальни. Это облегчает дело. Старухе, чтобы застичь ее, пришлось бы подняться и дойти до самой двери — в ее возрасте это не так-то просто. Старуха беспомощна.

Да и вообще вряд ли она станет ее проверять. Она слишком доверчива. И занята только мыслями о своей умершей дочери. Бедная девочка!

Звонит телефон. Это Марио.

Телефон стоит на столике около качалки. Старуха протягивает руку и не глядя снимает трубку. Телефон успел прозвонить только два раза.

— Слушаю!..

Никто не отвечает. Это написано на лице старой женщины. Но она упрямо повторяет: «Слушаю! Слушаю!..» Все-таки приятно, когда кто-нибудь из друзей вспомнит о тебе и позвонит по телефону. И старуха не хочет смириться с неудачей:

— Слушаю!..

Ей не ответят. Это Марио. Если бы ей ответили, значит, звонил кто-то другой. Но в трубке молчание. Это он. Так было условлено. Девушке даже не надо смотреть на часы, чтобы убе-

даться, что сейчас ровно половина третьего. Все же она скашивает на циферблат глаза и видит, что ошиблась на две минуты. Часы старухи отстают. Марио в этом отношении пунктуален.

Старуха опускает трубку. Она не знает, что Марио не положил свою и заблокировал линию.

«Видишь, как все оказалось просто?» — так он обязательно спросит ее позднее, когда станет ясно, что все прошло успешно, в его словах она услышит упрек себе, потому что она сомневалась. Он всегда упрекает ее так — не впрямую.

Утром она сказала ему:

— Слишком подозрительно: если все так просто, почему никто другой до сих пор до этого не додумался?

А он ответил:

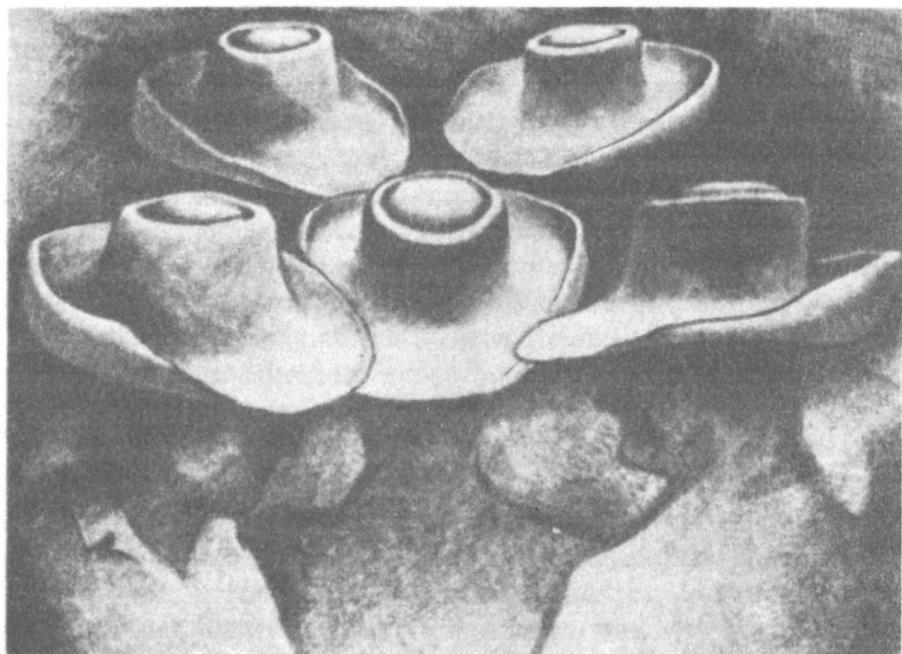
— Я же не виноват, что у людей нет воображения.— И забубнил деловито:— Старуха целыми днями сидит в кресле. От гостиной идет коридор, в него открывается дверь спальни. Ты должна войти в доверие. Главное — не вызвать подозрений. Я сделаю так, что ее телефон не будет работать, для тебя это будет предлог, чтобы спуститься вниз,— скажешь, что тебе нужно срочно позвонить. Старуха, конечно, попросит тебя позвонить заодно на станцию и сказать, что телефон не работает. Я буду ждать тебя в парке. В твоём распоряжении два часа, чтобы сделать все что надо.

Марио далеко отшвырнул сигарету, которую только что закурил.

— Ты должна быть с ней полюбезнее, запомни. Ублажай ее изо всех сил.— Помолчав, добавил:— Я тебя жду до четверти пятого. Ты знаешь, я люблю точность. Позвоню в два тридцать...

Когда он позвонил, на часах старухи оказалось два двадцать восемь. В два тридцать по этим часам старуха положила трубку и, сразу забыв о звонке, продолжала как ни в чем не бывало:

— Такой уж она была. Скажет что-нибудь, ввергнет человека в смятение, а сама и бровью не поведет. Однажды мы переплывали Ла-Манш. Корабль вышел из Ливерпуля, а прогноз был плохой. Посредине пути мы попали в сплошной туман, машины отказали. Мы остались на плаву вдали от берегов. Я услышала сигнал сирены, но не могла понять, откуда он доносится. С дру-



Луис Пеньальвер. Рождение партизанского отряда

гого ли корабля? С берега? Или мы вот-вот должны были сесть на мель? Ах, эти морские путешествия зимой всегда меня так пугали. И я ее спросила: «Ты слышала?» Но она не ответила. Она знала, какая я боязливая, и не ответила. И, несмотря на опасность, улыбалась.

Девушка облокотилась о спинку стула.

— А сколько ей было лет?

— Раздвинь немного шторы. Хорошо, достаточно. И останься там...

Старая женщина внимательно рассматривает девушку, точнее, отдается сладостному созерцанию. Она улыбается, будто вдруг случайно нашла то, что так давно и так упорно искала.

— Странно. Ты чем-то похожа на нее. Глаза. Но не взгляд. Да, ты похожа на нее, но в тебе нет ее спокойствия. А есть что-то другое. Совсем другое. Что-то тревожное, трудноуловимое.

Девушка опускает глаза.

— Ну хорошо,— говорит старая женщина,— теперь я хочу, чтобы ты подала мне кофе.

Кухня не видна из коридора. Направо дверь спальни, где этот шкаф со створками из ограненного стекла и остальное... В начале коридора висят семейные портреты и несколько пейзажей. Они написаны маслом, и поэтому их поместили подальше от солнечных лучей. Стена слева — сплошная, не прорезанная ни одним окном. Справа две двери; первая всегда закрыта, вторая, ведущая в спальню, полуоткрыта, там шкаф с ограненными створками, и в каждой створке торчит ключ. На средней полке стоит ларец — инкрустированная шкатулка с драгоценностями и деньгами. Хотя шкаф старинный, створки не скрипят. В замке шкатулки тоже ключ. Маркетри на крышке изображает лунный пейзаж с пальмами. Крышка поднимается. Тропический пейзаж сменяется зеркалом на внутренней стороне крышки. Черные глаза под густыми бровями красивы, но взгляд жесткий, в нем смешались злость и страх; на лице девушки такое выражение, словно за ней гонятся и вот-вот схватят. В шкатулке деньги. Пачка аккуратно сложенных бумажек. А в другом отделении — кольца и бриллиантовые серьги.

Она перекладывает все это в сумочку и прячет ее на груди.

Потом запирает шкатулку и кладет ключ под одежду, лежащую в том же шкафу. («Когда вытрясешь шкатулку, спрячь ключ. Если ей взбредет в голову проверить, все ли в порядке, она не сможет открыть шкатулку. И потратит несколько минут, пока найдет ключ. Этого времени тебе будет вполне достаточно, чтобы незаметно выйти из дома. Я жду тебя в парке. У тебя целых два часа на все. Увидишь, как все окажется просто. Забрать деньги и драгоценности — дело двух минут. В твоём распоряжении час пятьдесят восемь минут, чтобы подготовить почву...»)

Сквозь полуоткрытую дверь доносится жалобное поскрипывание качалки. Старуха не встает со своего места. Она дожидается кофе. Какую историю о сзоей дочери, связанную с кофе, вспомнит она теперь?

Пока старая женщина пьет кофе, девушка смахивает пыль с книжных полок. Метелка из перьев в ее руках снует с лихорадочной поспешностью.

— В тебе есть что-то странное, а что — никак не пойму. Подойди поближе. Сядь возле меня. Ты знаешь, я болею от одиночества. Так мне говорила она, и у нее к тому были основания.

Девушка послушно подходит и садится около старой женщины.

— Скажи, тебя когда-нибудь любили безумно?

— Не знаю...

— Ах, дочь моя! Боюсь, что тогда ты меня не поймешь. Мне с самого начала следовало бы сказать тебе: «Постарайся вообразить существо исключительное — хотя это нелегко,— и как только это тебе удастся, я начну рассказывать...» Тебе не надоело? Или ты чем-то озабочена?

— Нет, нет, ничего.

— Я вижу какое-то беспокойство в твоих губах. В глазах — нет. С ней тоже было так. Чтобы узнать, что она думает, надо было следить за ее ртом, потому что глаза у нее всегда оставались печальными, будто она созерцала вечность, зато рот был очень подвижный и выразительный.

— Как?— Девушка прекрасно все слышала, но тем не менее переспросила:— Как?

Старая женщина не ответила. Она сидела, поднеся ко рту чашку кофе, другая рука с блюдцем лежала на коленях. В ее взгляде напряженность — она силится восстановить в памяти дорогие черты. Казалось, что она помнит их с такой отчетливостью, но вдруг обнаружилось, что они расплывчаты и неясны. Наконец снова раздается ее тихий голос:

— Нет, она не была красивой в обычном понимании. Но каждый тебе сказал бы, что она очень хороша собой. Тут было что-то иное. Ее обожали, потому что сразу понимали, что ее красота недолговечна и что она сама недолговечна. И она тоже это знала, знала лучше всех, и в этом-то, наверное, и заключался секрет ее привлекательности.

Старая женщина ставит чашку на стол. Она сделала один глоток и жестом показала, что не будет пить больше.

— Она и маленькая была такой же. Нелегко было обращаться с ней, как с ребенком. Однажды...

Старая женщина начинает рассказывать о милой ее сердцу поре — о детстве дочери. Во время рассказа она ни разу не произнесла ее имени, просто говорила «она». Даже бога называют по имени, когда вспоминают о нем, а ей не нужно было и этого.

Девушка подалась вперед. Она внимательно следит за нитью рассказа. И с любопытством смотрит на губы старой женщины — угадывая слова иногда еще до того, как та их договаривает. Перед ней приоткрывается волшебный мир, в котором наряженная в кружева и шелка девочка — наполовину сон, наполовину фантазия — кружится и кружится на неумолимой карусели смерти и вечной юности.

— Как-то раз мы пили кофе в Бад-Годесберге. Перед нами открывался чудный вид на Рейн, на синие горы вдаль. Дело было весной, а немецкая весна великолепна. Она была в costume цвета мальвы, и нам доставляло радость смотреть на нее. И вот именно тогда это и произошло: она как-то странно взглянула на меня, и хотя лицо ее светилось счастьем, она произнесла такие слова: «А знаешь, почему эта весна так прекрасна? Потому что это моя последняя весна. Нам нужно уладить все наши дела. Я должна оставить их в этом мире в полном порядке».

Потом она повернулась к своей кухне Алисии и сказала ей что-то, отчего та засмеялась. Кто-то, не то полковник, не то посол, не помню, спросил в этот момент, не холодно ли мне: «Вы вдруг так побледнели...»

Старой женщине не надо было добавлять, что слова дочери оказались пророческими. Девушка почувствовала, как у нее сжалось сердце. Она подносит руку к груди и, наткнувшись на сумочку, вздрагивает.

— Я вижу, ты взволнована? Но представь себе, что мне пришлось пережить, когда она, такая сияющая, жизнерадостная, уверенная в себе, вдруг говорит мне это как бы вскользь, будто мимоходом задевает меня полями своей шляпы или напоминает, что пора принимать таблетки от кашля. — Она сделала паузу и снова взглянула на девушку. — Ты впечатлительна. Я вижу, тебя тронула моя история. Да, у тебя есть воображение, хотя сразу этого не скажешь. («Слишком подозрительно: если все так просто, почему никто другой до сих пор до этого не додумался». — «Я же не виноват, что у людей нет воображения. Старуха целыми днями сидит...»)

— В тот самый вечер, когда мы возвращались в отель, я подарила ей гранатовое ожерелье. «Я буду носить его всегда», — сказала она мне и улыбнулась по-особому — не только губами, но и глазами, больше всего глазами — будто вдруг распахнулось окно на лужайку.

Старая дама замолчала и облизнула пересохшие губы...

— Но относительно одной вещи она не оставила никаких распоряжений. Я была тогда слишком опечалена, вернее, потрясена — печаль пребудет со мной навеки, — чтобы заметить это. А потом, когда настало время исполнить ее последние желания, я спохватилась, что она нигде не упомянула об ожерелье. Гранатовое ожерелье — последний мой подарок, мне кажется, она им очень дорожила, никогда с ним не расставалась. И вдруг никаких указаний, это так странно. Особенно для тех, кто ее хорошо знал. Перед смертью, со свойственной ей аккуратностью, она уладила все дела. Все — за исключением гранатового ожерелья. Может, ей хотелось оставить в своей жизни что-то незавершенным. Иногда я так думаю. Она словно пред-

видела какой-то особый, неотвратимый поворот событий.

Девушка, сжимавшая обеими руками сумку на груди, медленно подняла лицо. Глаза, обращенные к старой женщине, горели живым чувством, которого поначалу трудно было ожидать от нее.

— Дочь моя, о чем ты думаешь? Пожалуйста, не двигайся, замри, словно тебя заколдовали и ты ожидаешь волшебных слов, которые развеют чары.

Со стороны моря послышался пронзительный крик чайки. Он проник в комнату, приглушенный и смягченный шторами. По небу, вероятно, проплывало облако, потому что в комнате вдруг потемнело. Старая женщина жадными тоскующими глазами смотрела на девушку, неподвижно, с опущенными ресницами стоявшую перед ней. Время тоже остановилось, будто скованное летаргией.

Не дождавсь ответа, старая женщина снова спросила:

— Ты спишь?

— Нет, — еле слышно ответила девушка.

— Я хочу, чтобы ты надела гранатовое ожерелье.

Она сказала это отчетливо, как говорят, приняв важное решение. Девушка, вздрогнув, подняла голову, но старая женщина теперь не смотрела на нее, ее взгляд унесся куда-то вдаль.

— Пойди в мою спальню. Это вторая дверь по коридору, она приоткрыта. Там в шкафу есть маленькая коробка, точнее, шкатулка с инкрустацией на крышке. Ты ее сразу увидишь, она там одна. У нее есть второе дно, тайник. В нем лежит гранатовое ожерелье. Ключ от шкафа торчит в замке. В шкатулке тоже есть ключ. Пожалуйста, принеси мне ожерелье...

Девушка уронила руки.

— Хорошо...

Комната старухи направо по коридору. У нее есть и другой выход — на террасу в сторону моря. Шкаф старинный — все в этом доме старинное, — с тремя створками, которые доходят до самого потолка. Ключ торчит в замочной скважине. Шкатулка тоже с ключом. Маркетри на крышке изображает пейзаж — пальмы в лунном свете. Шкатулка открывается. На обратной стороне крышки появляются глаза — черные глаза под густы-

ми бровями, полные напряженного ожидания... Шкатулка пуста. В большом ее отделении раньше лежала аккуратная пачка денег, в маленьком — кольца и бриллиантовые серьги...

Она достает сумочку и вынимает из нее деньги и драгоценности. Кладет их в шкатулку, не заботясь, чтобы они лежали в том же порядке, что и раньше. Потом поднимает дно. Под ним на ярком зеленом бархате лежит гранатовое ожерелье.

На ярком красном бархате лежит гранатовое ожерелье. Араб-ювелир берет его привычной рукой и рассматривает на свет. Граненый камень вспыхивает сухим огнем, лишенным резкости, свойственной другим драгоценным камням, которые дробятся в собственном сверкании.

— Как раз для девушки,— говорит он.— Да, сеньора, ей не надо носить никаких других камней, кроме граната!..

— Позвольте, я сама надену на нее ожерелье.

— Пожалуйста, сеньора, прошу вас.

— Подойди поближе, я хочу надеть это на тебя.

Она берет в руки ожерелье и поворачивается к дочери. Гранат снова вспыхивает сухим огнем в лучах света.

— Я буду носить его всегда,— говорит дочь, улыбаясь. Она улыбается какой-то особенной улыбкой — не только губами, но и глазами, будто...

Ювелир в этот момент раздвигает на окне шторы — и комнату затопляет ослепительное весеннее солнце. Оно несет в себе зеленое колыханье нежной листвы, свежесть молодой поросли, благоухание бутонов.

— Драгоценные камни, когда они на человеке, требуют естественного освещения,— говорит ювелир от окна.— Если они лежат в футляре, свет может быть искусственным. Но когда их надевает такая девушка, он должен быть только естественным...

Старая женщина продолжает смотреть куда-то вдаль. Тяжелые шторы умеряют пылающее тропическое солнце, комната погружена в рассеянное, призрачное марево, где приглушены светотени и смутно, словно освещенные каким-то внутренним излучением, обрисовываются отдельные предметы.

Девушка молча входит в комнату. Садится на то место, где

сидела раньше. И протягивает руки: в раскрытых ладонях лежит гранатовое ожерелье.

Старая женщина поворачивает голову и переводит глаза на девушку, но кажется, что она все еще где-то очень далеко.

— Тогда араб-ювелир рассказывал нам о всяких драгоценных камнях. О жемчуге, бриллиантах, сапфирах и аметистах. Он был загадочный человек. И знал тайну камней. Она восходит к миру, который существовал еще до рождения воды. Мне всегда казалось, что араб-ювелир из Бад-Годесберга, как только ее увидел, понял все. «Ей не надо носить никаких других камней, кроме граната». Так он мне сказал. Так оно и было.

Старая женщина протягивает руку и берет ожерелье.

— Подойди поближе. Я хочу надеть его на тебя.

Девушка наклоняется. Закрывает глаза и скрещивает руки на груди. Затаивает дыхание. (Я буду носить его всегда. Я буду носить его всегда. Я буду...)

Старая женщина потянула в этот момент за шнур, и комнату затопил поток тропического света. Он принес с собой сверканье моря, блеск плоских крыш, колыхание пальмовых листьев, морскую соль и неясный гул раковин, в которых слышится шум прибора...

В четыре тридцать он отшвыривает далеко от себя сигарету, которую только что закурил. Снова смотрит на часы. Четыре часа тридцать минут ровно. Где-то позади раздаются удары колокола. «Часы на церкви идут точно. Служители не забывают их смазывать». Он в последний раз смотрит в ту сторону, откуда она должна прийти, и видит, что она наконец появилась. Да, это она. Он закуривает новую сигарету.

Когда она уже совсем близко, он поднимается ей навстречу.

— Давай походим. Я устал ждать.

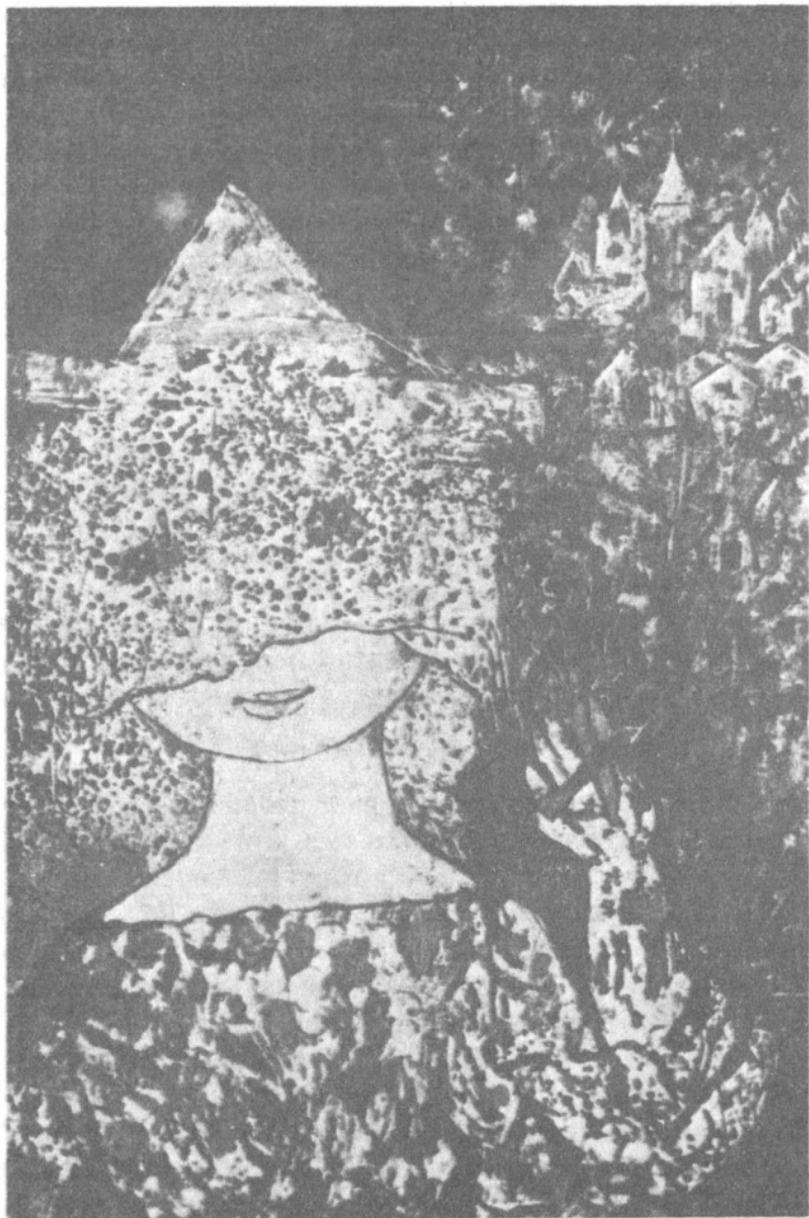
Она молча идет рядом.

— Что-нибудь случилось?

— Нет.

— Тогда в чем дело?

Она пожимает плечами. Они проходят мимо скамьи, на которой сидят двое мужчин.



Эдуардо Абела. Девочка с птицей

— В чем дело?

— Ни в чем.

Они проходят мимо женщины, которая ведет за руки двух детей. Марио удерживает готовый сорваться с губ вопрос. Он вдруг начинает нервничать.

— Все прошло по плану, да или нет?

— Да.

— Тогда в чем же дело?

Она поворачивается к нему. У нее черные глаза, такие красивые под густыми бровями, но взгляд жесткий — смесь страха и злости; на лице такое выражение, будто за ней гонятся и вот-вот схватят.

— Тебя обманули, там ничего нет.

Он изо всех сил стискивает ей руку. Лицо искажает бешенство, но он молчит и ждет, пока они пройдут мимо какой-то парочки.

— Что ты несешь? Ты все делала так, как мы договорились?

— Да. Но шкатулка оказалась пустой. Все исчезло, понимаешь? Если там раньше что и было, все сплыло. У других тоже есть воображение.

Он отпускает ее руку и задумывается.

— Какая была шкатулка?

— Маленькая. На крышке такой красивый вид — пальмы, луна. А внутри зеркало. Когда ее открываешь, кажется, что на тебя кто-то смотрит.

— Ты уверена, что в ней ничего не было?

— Ничего. Все сгнуло.

Она поднимает руку к груди. Марио краем глаза улавливает это движение истораживается.

— Что у тебя там?

— Ничего.

Они останавливаются перед большим деревом. Его ветви широко раскинулись во все стороны, с них свешиваются лианы, уходящие корнями в землю. Дерево похоже на огромного паука, тенистый сумрак его ветвей будто специально создан для признаний и трагедий.

— Что у тебя там?

- Безделушка. Она ничего не стоит.
- Дай ее мне.
- Она ничего не стоит.
- Дай ее мне.
- Это единственное, что было в шкатулке.
- Дай ее мне.

Голос Марио неожиданно делается холодным. В нем уже нет угрозы. Он больше не приказывает, он просто протягивает руку, исключая всякую мысль о неповиновении.

Она поднимает руку к груди. Марио видит матерчатую сумочку, а затем гранатовое ожерелье, которое она медленно вынимает и надевает на себя. На лице Марио написано отвращение.

— Я буду носить его всегда,— говорит она и улыбается по-особому — не только губами, но и глазами, больше всего глазами — будто распаивается окно на лужайку.

Часть II

Решения дона Хусто

Моряк Перфекто

Вильольдо и его прошлое

О том, как Робертико едва не женился

С цирком приходит несчастье

День всех незнакомцев

Лучший в мире хоронильщик

Непревзойденный репортер

Решения дона Хусто

У дона Хусто всегда были странности. С малых лет. Однажды, когда ему исполнилось пятнадцать, мать сказала:

— Сходи проведай дядю Игнасио, как он там со своей лихорадкой?

Дон Хусто, всегда отличавшийся немногословием, молча положил в сумку еду, надел шапку и вышел из дома, тронув на ходу рукой пастуший кнут отца. Вернулся он через пять лет — сразу, как закончилась Десятилетняя война*, в чине лейтенанта; но прежде чем идти домой, он зашел узнать о здоровье дядюшки, умершего в ту самую ночь, когда дон Хусто примкнул к войскам восставших.

Двадцать лет спустя неожиданно прозвучавшие выстрелы оторвали его от чтения «Жизнеописаний»**: он заложил страницу веером из пальмовых листьев и сказал жене:

— Я должен выйти... К обеду не жди.

Когда он вернулся, Куба была уже независимой, а у него в петлицах блестели знаки отличия полковника.

— Куда подевался четвертый том Плутарха, который я оставил вот здесь?— спросил он, как только вошел в дом, указав пальцем на письменный стол. Таким образом, дон Хусто еще раз подтвердил свою выдержку, волю и верность самому себе.

Нужно сказать, что силу характера дон Хусто начал проявлять со дня своего появления на свет, но казалось, ему этого было мало, он словно стремился рассеять любые сомнения на этот счет. И вот в один прекрасный вечер ему взбрело в голову

* Национально-освободительная война 1868—1878 гг.

** Сочинение Плутарха «Параллельные жизнеописания».

совершить поступок, который действительно был под силу лишь человеку, обладающему железным упорством. Сидя за домино — играли при свете полной луны, — он вдруг сдвинул брови и заявил:

— Я не покину этот дом, пока мне не стукнет восемьдесят девять лет. — И тут же, предвосхищая докучные вопросы, добавил: — Можете не сомневаться, я доживу! Продолжим игру, сеньоры!

Минуло двадцать лет, в течение которых не произошло ничего серьезного, что могло бы помешать ему выполнить свой зарок. Это, правда, не означает, что так уж легко было держать данное слово. Однако по-настоящему трудное испытание выпало на его долю лишь тогда, когда муниципальный совет принял решение провести более удобную дорогу к городской бойне. Согласно плану новая улица разрезала надвое просторный дом полковника.

Не таков был дон Хусто, чтобы чинить препятствия прогрессу, сколько бы неудобств тот ему ни причинял; поэтому он не возражал против того, чтобы план был осуществлен в полном объеме. В результате дом оказался рассеченным посередине: по одну сторону остались гостиная, столовая и еще две комнаты, по другую — кухня, ванная и дворик, где полковник разводил породистых петухов. Но ведь дон Хусто принял решение не двигаться с места, пока ему не исполнится восемьдесят девять лет, да к тому же он отнюдь не остался гол как сокол из-за вынужденного отторжения части имущества, поэтому он спокойно смотрел, как ломают середину дома, ни малейшим жестом не выдавая какого-либо неудовольствия. Он только предупредил мастера, руководившего работами:

— Ваши — три комнаты в центре. Остальное — мое. Позаботьтесь, чтобы у меня не тронули ни одного кирпича.

Все это он произнес, сидя в плетеном кресле посреди будущей улицы в прохладной тени ягумы, поглаживая лежавшую на коленях винтовку. Строители не тронули у него ни одного кирпича. Три месяца спустя, как только на стену нанесли последний мазок, он убрал кресло и поблагодарил мастера за аккуратную работу.

— Приводите своих внуков, когда мне исполнится восемьдесят девять,— сказал он ему, не переставая обмахиваться веером.— Торт будет величиной с ванну...

С тех пор каждое утро можно было видеть, как он в халате и тапочках идет через улицу в ванную комнату, а потом, приготовив кофе, садится читать свои исторические трактаты. Его ночные пасакалии* в пижаме были согреты общением с бродягами-полуночниками, которые охотно перекидывались с ним дружескими замечаниями. Днем водители автомашин следили за тем, чтобы не наехать на дону Хусто, когда тот пересекал улицу в своей гуайабере** с той же беспечностью, с какой раньше шагал по выложенному каменными плитками коридору своего старого дома.

Переходы через улицу из одной части дома в другую, утренний кофе, как в славные времена военных походов, неизменный веер из пальмовых листьев, чтение классиков и покашливание, характерное для заядлых курильщиков,— все это продолжалось до того самого дня, когда дону Хусто исполнилось восемьдесят девять лет. Накануне вечером, счастливый тем, что сдержал свое слово, он водрузил на нос очки и твердыми круглыми буквами написал завещание. Взрослым и детям, пришедшим на день рождения, подали огромный торт — какого они никогда не видели и никогда больше не увидят; он был размером с ванну, и на нем горело сразу восемьдесят девять свечей. Дон Хусто не стал их гасить. Он стоял перед тортом, как перед охваченным огнем полем, которое подожгли, чтобы выкурить укrywшегося там противника, стоял неподвижно, молча, весь уйдя в себя, то ли погрузившись в воспоминания, то ли полностью забыв обо всем на свете.

От догоравших свечей потянуло чадом, они начали мерцать: дон Хусто кивнул головой, как бы примиряясь с неизбежным, потом бодрым голосом крикнул детям, словно отдавая команду:

— Вперед! Приступите к торту, а то вы уже заждались!

Когда гости разошлись, он сел за своих классиков, как делал

* Пасакалия — марш, поход.

** Куртка из легкой ткани, вид национальной одежды на Кубе.

каждую ночь. А утро застало его бездыханным все в том же плетеном кресле, с веером из пальмовых листьев в руках и томиком Тита Ливия на коленях; меж страниц книги, как закладка, белело завещание, написанное его рукой. Оно было составлено в простых выражениях:

«Хотя мой сын Помпей того не заслуживает, я оставляю ему все мое состояние, за исключением кувшина, зарытого под третьей комнатой, там, где теперь проходит улица: его я завещаю муниципальному совету для проведения общественных работ. Пусть меня похоронят стоя, в том углу кладбища, который выходит на улицу лос Каноса. Такова моя воля».

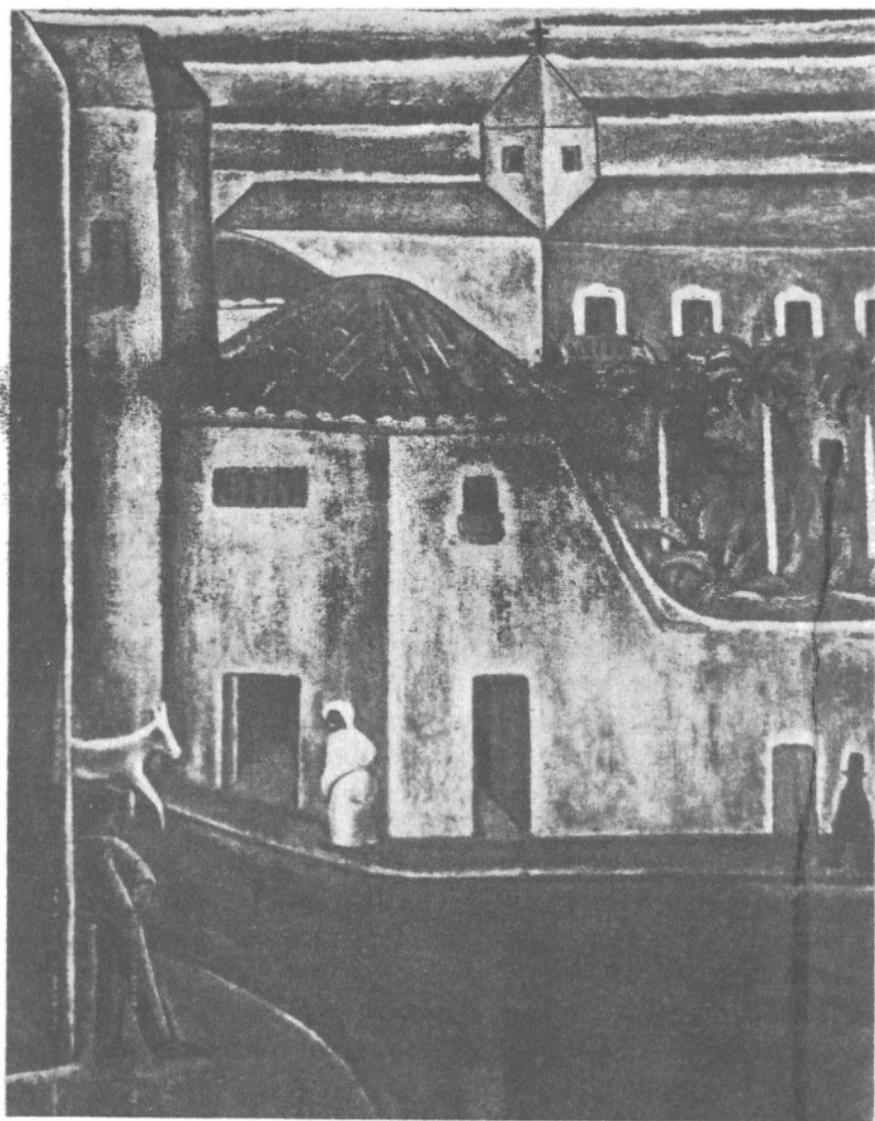
Моряк Перфекто

Человек может терять мало-помалу то небольшое, что завоевывал на протяжении многих лет, и при этом продолжать испытывать довольство жизнью, которое мы зовем счастьем. Надо только быть достаточно упорным и, главное, уметь находить среди мусора и плевел зерна подлинного счастья и к ним устремлять свои помыслы.

В случае с Перфекто решающим оказалось терпение.

Однажды Перфекто понял, что среди всех его утрат потеря зубов была далеко не самой малой. В то время у него и так было немного поводов для веселья, неудачи сыпались дождем, однако даже сквозь горечь и уныние на лице Перфекто время от времени пробивалась улыбка. Вплоть до того момента, когда, будучи уже без лодки и без последних зубов, он, взглянув в зеркало, убедился, что улыбка исчезла с его лица окончательно и навсегда.

Постепенно Перфекто смирился с тем, что можно потерять лодку, пусть она и называется «Два друга», если к исходу двадцатилетнего срока хозяину подвернется лучший арендатор. Со временем он стал считать само собой разумеющимся, что дети растворяются в жизни, как соль в воде. Но улыбка? Как пережить, что еще вчера она была, а сегодня от нее остались только воспоминание да горечь безвозвратной утраты? С тех пор как он ушел из порта и обосновался в предместье, на дне его сундука хранилась морская фуражка — он убрал ее с глаз долой вместе с другими вещами, которые не хотел теперь видеть. Соседи привыкли к его маленьким, грустным глазкам, вечно высматривающим что-то вдаль, к его манере шагать по улице, будто тротуар раскачивался под ногами, к его неизбыв-



Виктор Мануэль Гарсиа. Улица

ной тоске моряка, которому не по себе на земной тверди.

Городок не очень годился для бывшего морского волка. Море находилось довольно далеко, и Перфекто был лишен последнего утешения старых моряков — возможности стоять на берегу и вглядываться в горизонт, будто там, вдали проплывают картины твоей жизни. Как раз об этом он размышлял однажды вечером, вертя в руках ногтечистку, которую кто-то послал ему из тюрьмы; он думал также об упорстве узников и о том, что есть невзгоды, преодолеть которые можно, лишь собрав все свое терпение. Внезапно ногтечистка, украшенная яркой кисточкой из шерстяных ниток, замерла в руке Перфекто; в этот момент он спросил себя: только ли в тюрьме упорство и терпение являются добродетелью?

Он улыбнулся в первый раз за долгое время, но улыбнулся, как Мона Лиза — больше глазами, чем губами.

И вот Перфекто раздобыл хороший кусок дерева красной йокумы*, оно было твердым, как столпы вечности, и подходило по тону, что было весьма существенным обстоятельством, так как Перфекто не хотел ни в малейшей степени отклониться от естественной цветовой гаммы. С помощью лучковой пилы и узкой ножовки он придал куску дерева вид каблука; затем настал черед стамески и долота, потом в действие вступили надфиль и буравчик, а за ними и наждак. Мало-помалу деревяшка в его руках приобрела форму, подсказанную воспоминаниями; все было зачищено и подогнано с необыкновенной тщательностью, лишнее удалено, линии смягчены; отполированное дерево стало нежным и одновременно крепким и сочным, словно внутренность королевской раковины, только что извлеченной из моря.

Больше года длилась эта работа. Но вот она подошла к концу. С трудом сдерживая дрожь, Перфекто нанес последний штрих — прошелся по дереву белой эмалью, какой красят прогулочные яхты.

Перфекто сделал зубы, предназначенные не для еды, а лишь для улыбки, но уж тут они ни в чем не уступали самым крепким,

* Йокума — дерево из семейства лавровых.

самым лучшим естественным зубам на свете.

Как только Перфекто вставил их перед зеркалом, он тут же узнал на своем лице прежнюю, чуть рассеянную улыбку.

С того дня соседи начали останавливаться на улице, чтобы поздороваться с ним. Это был другой Перфекто: сдержанный, неприступный, ни дать ни взять бывалый капитан за штурвалом корабля; здороваясь, он снимал свою морскую фуражку и горделиво улыбался, будто вел под руку самую красивую в мире женщину.

Так продолжалось какое-то время. Но верно говорится: коротка радость в доме бедняка. Позвольте вас спросить, как, по-вашему, должен укладываться на ночь человек, который всю жизнь спал под звездами, вдыхая морской бриз, осыпаемый брызгами волн, оставлявшими соляные родинки на выдубленной солнцем и непогодой коже? А вот как: распахнув настежь окна, чтобы видеть в самой вышине яркую звезду, сбоку Большую Медведицу, а прямо перед собой — сверкающий рубин, который зажигается на небе в ясные ночи. Именно так и никак иначе, а когда задует бриз с подветренной стороны, тогда отдать швартовы и взять твердый курс на сон.

Тот, кто при ясном небе доверчиво передает рулевому управление кораблем, а сам как подкошенный падает на койку, чтобы дать отдых костям, не предполагает, разумеется, что может проснуться под рев и грохот галерны*. Точно так же и Перфекто не способен был представить, какое бурное утро сменит ночь; накануне он мирно зевнул, глядя в проем открытого в ночь окна, положил на столик возле кровати зубы и задремал, озаряемый светом Полярной звезды. А утром, едва приоткрыв глаза с первыми лучами солнца, он протянул руку, пошарил один раз, другой — и тут же вскочил в испуге, ошеломленно уставившись на ночной столик: зубов не было, они исчезли.

Как говорится, если уж беда входит в дом, то она отъедается в нем так, что потом не может выйти — двери для нее становятся малы. Он попробовал было бороться с судьбой, но

* Шквалистый северо-западный ветер.

его попытки сделать новые зубы закончились неудачей. Ему не хватало вдохновения. В первый раз он думал лишь о своей улыбке, вспоминал, как она освещала его лицо, и из этой игры воображения и памяти один за другим возникали зубы из йокумы — точная копия его собственных; теперь он думал не о своей прежней улыбке, но о зубах, о деревянных зубах; его руками двигало теперь не стремление облечь плотью идеал, а горечь утраты, ненависть к тому, кто под покровом ночи похитил его улыбку. И все у него не ладилось. Сначала раскололся кусок дагами*, потом йокумы; он попробовал и акану**, и страстоцвет, но дело было не в дереве, а в нем самом, и он оставил свои попытки.

Перфекто плелся по улицам с опущенной головой и не отвечал на приветствия. От его бравой морской походки осталось лишь неуверенное покачивание на ходу. Он наткнулся на все, что попадалось на пути, потому что его глаза были заняты только одним — они неустанно высматривали потерянное сокровище. Старый моряк был как неуправляемый корабль на плаву, даже хуже, он не смотрел ни на горизонт, ни на звезды и, казалось, был поглощен лишь созерцанием собственных ботинок.

И так в течение многих месяцев от зари до зари он бесцельно бродил повсюду в полном одиночестве, не находя ни в чем утешения.

И вот однажды, изнуренный бесконечной ходьбой, он забрел в кабачок «Томегин» и остановился у стойки против Фелипе Чана.

— Стакан воды, Фелипе,— сказал он, подняв глаза на улыбающегося китайца.

И, потрясенный, замер. Он не видел ни Фелипе Чана, ни пчелы, под тяжестью которой чуть согнулся стебель белой лилии, ни бабочек, раскинувших багряные крылья на картинках, выполненных китайской тушью. Он видел лишь улыбку Фелипе Чана, а в ней — штормовые ветры и тайфуны в южных морях Тайваня, эта улыбка доносила до него запах морских водорослей, ветерок, вкус морской соли, крики чаек, много-

* Вид дерева, произрастающего на Кубе.

** Вид дерева семейства лавровых, растет в Америке.

цветье рыбьей чешуи, солнце и йод, свет и распахнутые просторы; но это была не улыбка Чана, хозяина погребка, это была улыбка моряка, сердечная, долгожданная, чуть рассеянная улыбка, плененная и замкнутая в трюме китайской джонки, как дочь мандарина, улыбка вызывающая и спокойная, горькая и сверкающая, словно морская волна.

Внезапно — все еще блестя зубами — Фелипе Чан побледнел как полотно: пораженный, оцепеневший, забыв закрыть рот, он смотрел, как надвигается на него Перфекто, увеличивается в размерах, перегибается через стойку; видел его сведенные челюсти, выкатившиеся из орбит глаза, тянущиеся к нему руки. Не способный к сопротивлению, он чуть было не закричал от ужаса, когда почувствовал, что Перфекто одним рывком выдергивает у него изо рта вставные зубы.

— Мои! — вскричал Перфекто не своим голосом, охваченный мстительной радостью, и в его поднятой руке сияла только что завоеванная улыбка победы.

И соседи снова стали останавливаться на улице, здороваясь с Перфекто; и вновь перед всеми предстал другой Перфекто — сдержанный и исполненный достоинства, церемонно снимающий морскую фуражку, чтобы ответить на приветствие. Он шагал вразвалку, грудь колесом, и вид у него был такой, будто до горизонта рукой подать. Во рту его, словно металлический флюгер на солнце, сверкала челюсть, особенно выделялся один зуб, который Эмилиано покрыл золотой краской, какой подновлял нимб над головой святых.

Вильольдо и его прошлое

Причесанный под Родольфо Валентино*, с тростью, шляпой и мешком-сумой в руках, с жемчужной булавкой в галстук, в хорошо пригнанном жилете, Вильольдо сохранил те особые манеры, которые свойственны завзятым донжуанам и от которых до конца жизни не могут избавиться стареющие покорители женских сердец. Он имел обыкновение выступать неспешным шагом, хотя, быть может, при такой худобе ему бы следовало двигаться побыстрее, чтобы не походить на живые мощи.

Костюм его выглядел почти безукоризненным, и если вкус Вильольдо и можно было в чем-нибудь упрекнуть, то это касалось не столько устаревшего покроя сюртука, сколько слишком сильного запаха жасмина и ветивера.

Жемчужина, соломенная шляпа и трость не слишком вязались с сумой-мешком. Но Вильольдо, казалось, не придавал этому большого значения. Правда, большей частью он выходил на улицу без сумы, но зато в тех случаях, когда она висела у него в руке, Вильольдо излучал какую-то особую улыбку, одновременно загадочную и вызывающую, — улыбку человека, знающего то, что неведомо другим.

По странному совпадению, в дни, когда Вильольдо появлялся со своей сумой, он с особой настойчивостью начинал хвастаться одним своим давним знакомством, которое много лет назад привело, по его словам, к самому необычному приключению в его жизни.

Если вокруг было достаточно народу, он усаживался в кресло чистильщика сапог, пристраивал сбоку суму и начинал рассказ, который для Отиса, орудующего щетками, не стано-

* Родольфо Валентино (1895—1926) — популярный итальянский киноактер.

вился менее увлекательным оттого, что был уже хорошо известен.

Это произошло давно, на заре его юности.

Гаванская опера считалась тогда одной из самых известных в мире, и Вильольдо, молодой и напористый, хотя и не сведущий в оперном искусстве, но зато сведущий в искусстве любви, не мог упустить случай очередной раз попытаться счастья на этом поприще. Дело было так: выдав себя за газетчика, Вильольдо перезнакомился со всей труппой, набранной импресарио Браккале по всему свету.

Конечно, глядя на Вильольдо, рассказывающего эту историю, нужно было сделать некоторое усилие, чтобы отвлечься от его теперешнего облика и представить блестящим красавцем, который одним взглядом, как метким выстрелом, срывает итальянскую примадонну. Но нам ничего не оставалось, как уверовать в то, что события развивались именно таким образом, а уж все остальное, как утверждал Вильольдо, пошло как по маслу. Здесь Вильольдо при все возраставшем почтительном внимании многозначительно понижал голос на слове «остальное» и, не задерживаясь на этой деликатной теме, переходил к подробному описанию примадонны, такому детальному и выразительному, что охваченные завистью слушатели буквально теряли дар речи. Описать божественное совершенство слушателям, чьи понятия о красоте зиждятся на самых примитивных представлениях, — задача не из легких, поэтому Вильольдо прибегал к доступным публике сравнениям.

— Чтобы вам не слишком напрягаться, представьте себе локон дочки Собрино, но только черного цвета, талию тоньше, чем у дочек Серафино; груди — как у Нильды Консепсьон, только более острые, бедра — как у Энграссии, привратницы. Но кожи здесь ни у кого такой нет, вообразите: гладкая, как перламутр, и мягкая, как кошачий хвост.

Так он перебирал одно за другим выдающиеся достоинства девиц нашего городка, пока не исчерпывал список.

А потом, глядя на блестящие носки своих ботинок, вопрошал:

— Ну и, наконец, знаете ли вы, какого цвета были у нее глаза?

— Зеленые! — взволнованно откликнулся Отис, переставая наводить глянец. И Вильольдо, сделав утвердительный и одобряющий жест рукой, уточнял:

— Цвета бутылочного стекла!

После этого неизменно следовала пауза. И тут мы сразу догадывались, что сейчас Вильольдо в общих чертах — он никогда не опускался до подробностей — расскажет нам историю такой любви, которая способна наполнить смыслом всю жизнь человека до последнего его дня. Здесь было все: прогулки по мощёным улочкам старой Гаваны, вечера в живописных погребках, любовные арии, обращенные прямо к ложе, где сидел Вильольдо, различные приключения, комические и скандальные, но прежде всего здесь была бурная сицилийская страсть и звучали песенки, напеваемые на ухо а *mezzo voce**, словно призванные усыпить сонм ангелов в мягком полумраке алькова: *Oh, caro bambino del mio cuore***. Надо было слышать, какие вздохи испускал Вильольдо, дойдя в рассказе до этого места! Мы понимали, что их могли вызвать только серьезные причины, и хранили почтительное молчание, пользуясь которым Вильольдо провозглашал несколько напыщенно, но прерывающимся от волнения голосом:

— Сеньоры, пожалуйста, разрешите мне не разглашать ее имя. Оно слишком известно. Я надеюсь, вы понимаете.

Разве можно было отнестись без уважения к подобной щепетильности! Воцарялась полная тишина. Ее нарушало лишь чуть слышное пощелкивание пальцев самого Вильольдо. Но мы уже сказали, каким тонким и деликатным человеком был Вильольдо, на его долю выпали переживания, глубину которых мы не могли постичь в своей неотесанности, — нам была доступна лишь грубая внешняя канва этой истории. Поэтому Вильольдо, конечно же, не мог обмануть ожиданий своей аудитории и оставить нас в неведении. И вот, повесив трость на руку, он вдруг поднимался с ящика и со скорбным видом человека, у которого отнято последнее утешение — сохранять тайну, бросал:

* Вполголоса.

** О мой драгоценный возлюбленный (*итал.*).

— Ну, так уж и быть, сеньоры! В конце концов прошло столько лет, да и, кроме того, то, что принадлежало лишь нам двоим, стало достоянием не слишком тактичных газет того времени. Кто она? Титта Руффо!* Долго еще будут, вспоминая ее, говорить: какой голос! А я скажу вам, сеньоры: какая женщина! какая женщина!

И, подхватив суму, он приподнимал свой соломенный колпак, прощаясь с нами, и удалялся медленным, твердым шагом человека, душевный мир и спокойствие которого зиждятся на его прошлом.

* Титта Руффо (1877—1953)— знаменитый итальянский певец (баритон), выступал до 1931 года.

О том, как Робертико едва не женился

Нелегко объяснить, в каких отношениях мы были с Робертико. Мы — это компания, в которой юность, соединенная со скукой, неизбежной спутницей изначального одиночества маленьких городков, где никогда не знаешь, чем бы заняться, претворяла в жизнь первую пришедшую в голову мысль, какой бы несуразной она ни оказалась. Кто такой Робертико? Ну, это особый разговор.

Фамилия Робертико — Вельидо де Луна, а из-за своей унылой физиономии он получил прозвище Ящерица; была у него привычка ходить вывернув ноги, поэтому он угрожающе раскачивался на ходу, словно шест на крыше под порывами ветра. При этом его живот грузно свешивался в одну сторону, а огромные ягодицы — в другую, плечи вздымались и опускались волнообразным движением, а голова плыла в высоте сама по себе, то беспомощно и растерянно кивая, будто соглашаясь с чем-то, то покачиваясь из стороны в сторону, будто возражая.

Под его голубыми-голубыми глазами все было перемешано в сплошную кашу: толстые щеки, нос, скулы, подбородок — все, за исключением моржовых усов, падавших на толстые выпяченные губы, похожие на круглое горлышко какого-нибудь сосуда. Рот Робертико приобрел такую форму из-за сигар, которые наш приятель сосал всю свою жизнь. И теперь, даже когда он не курил, его губы были сложены как для затяжки. Будто горлышко кувшина в ожидании пробки.

Нет, нелегко объяснить, в каких отношениях мы были с Робертико, потому что, помимо всего прочего, он почти не разговаривал с нами, хотя, судя по всему, чувствовал себя счастливым в нашей компании. И к тому же его, по-видимому,



Хорхе Риголь. Рыбак

совершенно не интересовала выпивка. И если я уточняю «повидимому», то причина здесь в том, что его, возможно, связывало обещание не пить, данное Чаро Ило Фино, — иначе не объяснишь, отчего она разрешала ему ходить вместе с нами или, точнее, следовать за нами, так как Робертико — из-за уважения к Чаро Ило Фино мы никогда не называли его в лицо Ящерицей — со своей неуклюжей походкой сначала отставал от нас на несколько шагов, потом на полквартила, а потом и вовсе терял нас из виду. Однако в конечном счете он всегда оказывался там, где мы бросали якорь. В этом смысле он воистину обладал инстинктом почтового голубя.

Чаро была идеальной женой. Среди многих ее достоинств числилось и то, что она занималась стиркой в доме Куко Виньяса, который не проявлял особого беспокойства, когда видел, что после обеда и ужина она уносит судок для Робертико. Однако ее отношения с Робертико не были оформлены. И вот однажды мы решили, что следует погасить этот долг перед обществом, и сразу же назначили дату церемонии. Не составило большого труда уладить дело с нотариусом, заказать торт и организовать свадебное путешествие. Предполагалось сыграть свадьбу в узком, почти семейном кругу, но перед этим мы посчитали совершенно необходимым устроить прощальный мальчишник.

Потом-то мы поймем, что допустили ошибку. Единственную ошибку в операции, продуманной до малейшей детали, начиная от фотографии новобрачных и кончая матросской тельняшкой, которую мы подарили Робертико: вся в поперечных синих полосках, она его молодила, но делала еще более грузным.

Если уж быть совсем точным, ошибка, может быть, заключалась не столько в том, что мы устроили мальчишник, сколько в том, что нарушили слово, которое дали Чаро. Но что было, то было. Можно с уверенностью сказать, мы не испытывали недостатка в доводах, когда уламывали Робертико, хотя лучше бы у нас оказалось больше здравого смысла, чем доводов. И вот, затаив дыхание, словно на пороге великой тайны, мы ждем момента, когда Робертико сделает глоток. Чего мы, собственно, хотели? Говоря откровенно, не знали сами. Однако

так или иначе, все кончилось хуже, чем можно было предположить: ничего не случилось, Робертико плеснул себе ром в глотку — и на его лице не дрогнул ни один мускул, с него не исчезло выражение полнейшей отрешенности.

Это вызвало смятение.

Дело происходило в погребке Тинти Молины: одни сидели за стойкой, другие примостились у пивных ящиков. Робертико стоял прислонившись к бухте каната и не знал — как и все мы,— что в эту самую минуту начинается поединок.

— Налейте ему еще!— распорядился Моро.

На этот раз Робертико не пришлось уговаривать. То ли он понял, что это был вызов, то ли, хотя и не показал виду, ему понравился вкус рома. Послушно и без малейших признаков колебания он вынул сигару и опрокинул в свой круглый рот новую порцию рома, налитую Моро.

Сначала Робертико словно делал нам одолжение. Но по мере того, как он выпивал порцию за порцией, сопровождая каждый глоток жестом, который нельзя было расценить иначе как выражение полной уверенности в себе, граничащей с заносчивостью, становилось все очевиднее, что мы присутствуем при своего рода дуэли.

— Налейте ему еще!— всякий раз повторял Моро. И когда кто-то спросил: «Хочешь немного сыру, Робертико, чтобы ром пошел лучше?»— Моро, отодвинув тарелку с сыром, отрубил:

— Ящерицы не едят сыра!

Так в первый раз в нашей компании было произнесено это прозвище, и по тому, как изменился при этом голос Моро, стало окончательно ясно, что он бросает вызов: самый крепкий из наших выпивох, взяв на себя все последствия, решил выступить против Робертико. И вот они сошлись один на один: с одной стороны — Моро, его мы считали сильнейшим, а с другой, никем не признаваемый, лишенный моральной поддержки,— Робертико, чья невозмутимость, однако, делала его достойным самого уверенного в себе противника.

Так вот она, его тайна? Вот почему Чаро Ило Фино не позволяла ему пить! Значит, наш Робертико был настоящей железной глоткой?!!

Никогда, ни раньше, ни потом, мы не видели такой дуэли. Чем-то она походила на танец папильон. Пока пили первую бутылку, Моро держался молодцом, улыбался и смотрел на Робертико с таким видом, будто ожидал, что ром с минуты на минуту свалит того с ног. Робертико же оставался непроницаемым, он осторожно вынимал сигару, вливал в себя ром и снова делал затяжку.

На второй бутылке Моро стал болтливым, покрылся бледностью, волосы упали ему на глаза, он с изумлением тарачился на огромную фигуру Робертико, которую, казалось, ничто не сдвинет с места. Правда, Робертико уже не притрагивался к лежащей на стойке сигаре, а его глаза превратились в одну сплошную тусклую щелку.

За третьей бутылкой у Моро появились признаки раздражения, он начал обнаруживать слабость; Робертико же, напротив, оставался совершенно спокойным, он стоял, опираясь на связку канатов, словно незыблемая скала, такой же, как четыре или пять часов назад, разве только — как опытный и умелый выпивоха — старался не делать лишних движений: его тело будто застыло, двигалась только рука, она опускалась и поднималась одним и тем же механическим жестом, опрокидывая в глотку очередную порцию.

Дело принимало неожиданный оборот. На Моро, потерявшего веру в себя, тяжело было смотреть; и мы уже приготовились к худшему, когда на самом пороге окончательного поражения к нему вдруг пришло озарение. Напряженно, как сквозь плотную пелену, он всматривался в Робертико. Он смотрел ему в глаза, но сквозь их узкие щелки невозможно было различить, выдерживает ли Робертико взгляд своего противника; он по-прежнему стоял прислонившись к канатам; в своей полосатой тельняшке он был похож на командира корабля на капитанском мостике. Моро приближался к Робертико, сверля его испытующим взглядом; вот он подошел к нему вплотную — нос к носу — и вдруг издал торжествующий клич: он заметил струйку рома, вытекающую у Робертико из уголка рта и стекающую по шее. Эта струйка казалась единственным живым местом на неподвижном теле.

Весь засветившись, Моро чуть слышно пробормотал:

— А что... если отодвинуть канат?

Мы сначала не сообразили, что к чему, но Моро был во власти вдохновения: одним рывком он сдвинул бухту в сторону. Лишившись опоры, тело Робертико, совершенно одеревеневшее, какое-то время пребывало в прежнем положении. Но стоило голове качнуться вперед, как туловище повторило это движение, а когда голова плавно завершила утвердительный кивок, оно колодой рухнуло вниз. И тут нам стало ясно, как божий день, то, что потом, бранясь и рыдая, называя вещи своими именами, нам подтвердила Чаро Ило Фино: после первого же глотка Робертико был совсем готов, и дальше он пил только по инерции, обессилевший, отупевший, осоловевший. Но сначала Чаро набросилась на нас с воплями и обвинениями:

— Вы убили мне Робертико! Вы его угробили!

Она так кричала, что ее услышал даже фельдшер «скорой помощи»; оставив пациента, он зашел в дом, заставил ее выйти из комнаты, спокойно промыл желудок Робертико и сделал ему несколько уколов. Робертико оставался неподвижным, а его губы по-прежнему были сложены, как горлышко кувшина, будто, невзирая на все, что произошло по его милости, он собирался засвистеть.

Нет, он не умер.

С цирком приходит несчастье

Есть даты, которые навсегда врезаются в память; чем больше проходит лет, тем чаще приходится ссылаться на них, потому что с ними связаны такие события, по сравнению с которыми все, что происходило раньше и случалось потом, кажется бледным, плоским и незначительным.

Такое событие произошло в нашем городке в связи с приездом цирка «Братья Моралес» еще в те времена, когда молочные реки текли в кисельных берегах.

Тогда по улицам городка разъезжал один-единственный автомобиль — мистера Кепманна; и кроме этого автомобиля, одним из немногих развлечений жителей были походы на станцию, чтобы полюбоваться пролетающим мимо поездом из Гуане. Легко поэтому понять, что означал для всех приезд цирка. К пустырю, где останавливались фургоны, бежали не только дети, но и взрослые, в том числе и представители властей, гражданских и военных, которые выражали готовность предпринять все необходимое, чтобы представление состоялось.

Все заезжие цирки мы знали как свои пять пальцев, репертуар их выучили назубок и поэтому, не ожидая ничего нового, могли тешить свое тщеславие, считая себя глубокими знатоками циркового искусства. С цирком нас связывали особые отношения. Как между старыми друзьями, наше взаимопонимание было столь полно, что не оставляло места ни для секретов, ни для сюрпризов. Стоило только клоуну высунуть нос, как его тут же хором начинали просить произнести знаменитый монолог, который с одинаковым успехом сошел бы и для свадьбы, и для похорон. То же самое было и с другими

артистами. Публика знала, чего хотела, и ничто не могло ей помешать получить удовольствие.

В день, когда над залатанным шатром появилась надпись «Большой цирк братьев Моралес», всех охватил восторг, хотя с первого взгляда было видно, что нас не станут баловать разнообразием аттракционов.

Хорошим цирком испокон веков считается такой цирк, где имеется по меньшей мере два слона, пара хищников — лучше всего львов, — три или четыре опасных гада и, наконец, зебры, скакуны, першероны, дрессированные собаки.

Далее по нисходящей — независимо от количества клоунов — идут второсортные, третьесортные и прочие цирки; на них, как правило, лежит печать какой-то особой приниженности — она-то их и выдает: такие цирки появляются без лишнего шума, располагаются в укромном месте и держатся в почтительном отдалении, будто не осмеливаясь беспокоить своим присутствием.

К цирку «Братья Моралес» все это как бы не имело отношения. Несмотря на то что этому заведению явно не хватало зверей и аттракционов, шум и суета, поднятые в городе в связи с его появлением, оказали бы честь лучшему цирку в мире. Можно было лишь удивляться, каким образом горстка людей умудрилась держать в напряжении все население городка. Было устроено шествие с участием всей труппы: паяцев, канатоходцев, борцов, глотателей шпаг и огня — что было диковиной — и фокусников; они останавливались на каждом углу и демонстрировали свое искусство.

Никогда нам не приходилось видеть ничего подобного. Было похоже, что цирк пустил на рекламу все, что имел. Оставалось загадкой, как увязать подобное расточительство с отсутствием зверей, а нехватку реквизита — с работами по расширению центрального шатра.

На следующий день тайна прояснилась. С раннего утра и до позднего вечера на улицах не умолкали пронзительные выкрики:

— Спешите на Человеческую Метафору! Единственная на свете! Не бойтесь! Приходите смотреть Метафору!

Подходя к цирковым фургонам, мы увидели расклеенные на столбах объявления: «Детей и цыплят приводить на представление запрещается!» Над кассой висел большой плакат: «Администрация «Большого цирка братьев Моралес» почтительно просит уважаемую публику не будить адские силы, дремлющие в ужасной Человеческой Метафоре. Просьба во время спектакля не аплодировать и не производить никакого другого шума, который мог бы ее возбудить. Категорически запрещается приводить детей и животных, а также приносить продукты, за исключением тех, что продаются в цирке».

Стало также понятным, почему расширили шатер. Уже изда-дека была видна густая толпа, теснившаяся вокруг клетки, посредине которой стоял огромный ящик. Во избежание смертоносного возбуждения животное, или урод, или что бы там ни было содержалось в наглухо закрытом ящике. Проволочное ограждение, натянутое на крепкие деревянные колья, сдерживало любопытных, замиравших от ужаса и восторга, когда Метафора начинала беспокоиться, ворочаться, гулко ударяя о толстые доски темницы.

Несколько раз в течение ночи жители округи просыпались в холодном поту — их будило рычание бестии. По этой причине, а также из-за распространившихся в городе слухов о необыкновенной силе зверя обыватели стали относиться к цирку с боязливым опасением, юноши — с восторгом, а что касается девушек, то их притягивало чувство опасности — во всяком случае, к такому заключению можно было прийти, наблюдая, как они смотрели на борцов, демонстрировавших свои приемы на каждом перекрестке.

И вот наступил день представления. Задолго до назначенного часа сгоравшая от любопытства и нетерпения публика заполнила амфитеатр, ложи, проходы и каждый кусочек свободного пространства. Распорядитель вел спектакль с той смесью спокойствия и сознания опасности, которая присуща людям его профессии; он представлял зрителям метателя ножей и его ассистента с тем же энтузиазмом, с каким дирижировал аплодисментами, которые снискал фокусник, заставив исчезнуть самого себя; и когда оркестр — труба и барабан с



Аристидес Фернандес. Прачки

литаврами — завершил первую часть программы, распорядитель поднял цилиндр и напомнил о необходимости соблюдать тишину во время второго отделения. Два его ассистента вывесили плакат с тем же предупреждением.

К моменту появления Метафоры в зале воцарился полумрак, которому придавали таинственность красные фонари,— это был единственный цвет, который могла выносить бестия. Голос ведущего, отдававшего последние распоряжения, звучал все глуше по мере того, как он углублялся в туннель, из которого выходят артисты; оркестр приглушенно заиграл увертюру к «Севильскому цирюльнику», которая на языке цирков, как известно, выражает особый драматизм ситуации.

Арена на какое-то время осталась пустой. И от одного вида этой пустоты, залитой напряженным красным светом, по коже пробегали мурашки. Сдерживая волнение, публика томилась в молчаливом ожидании. Каждый чувствовал себя отъединенным от других в этом багровом полумраке, предельно насыщенном тревогой. Все взоры были обращены на выход из туннеля. Вдруг его стены заходили ходуном, и тут же раздался громкий, панический голос:

— Сюда! Сюда!

Из-за колеблющихся складок занавеса, спотыкаясь, выскочил распорядитель с выкатившимися из орбит глазами; охваченный ужасом, он едва владел собой, однако, исполняя свой последний профессиональный долг, собрал все оставшиеся силы и испустил душераздирающий крик:

— Спасайтесь! Метафора сорвалась с привязи!

Трудно даже вообразить, на что способна публика, когда какая-нибудь Метафора срывается с привязи. Я ведь уже сказал вам, что этот день навсегда остался в памяти города. Бегство было умопомрачительным. Достаточно сказать, что многие люди в течение некоторого времени не возвращались домой: по-видимому, эти несчастные все-таки столкнулись с чудовищем, и им пришлось провести в больнице недели и даже месяцы. Город на следующий день выглядел как после опустошительного землетрясения: повсюду встречались контуженные и увечные. К счастью, циркачи изловили на рассвете

зверя и убрались с ним восвояси, оставив после себя скорбь и страдания.

Однако, поскольку не было ни одного свидетеля поимки бестии, люди еще долгое время остерегались выходить по ночам из дому; и хотя жизнь постепенно вернулась в свое русло, ужас, охвативший город, не мог рассеяться еще много-много лет. Но хуже всего то, что нам пришлось оплакивать потерю нескольких человеческих жизней. В наших сердцах навсегда сохранилась память о двух-трех девушках, сожранных в расцвете лет кровожадной Метафорой. Впрочем, с уверенностью можно говорить только о двух, потому что спустя какое-то время дочь портупейщика Диего Сото заехала — с ребенком на руках — проведать семью, воспользовавшись тем, что «Большой цирк братьев Моралес» направлялся на гастроли по Вуэльтарриба.

Но память о двух других несчастных навсегда останется у нас связанной с событиями той ночи, когда Метафора сорвалась с привязи.

День всех незнакомцев

Примерно раз в четыре года в нашем городке наступала полная неразбериха. Словно бы всё, что прежде было справа, теперь вдруг оказалось слева, что находилось сверху, переместилось вниз, близкое стало далеким, а далекое — близким. И еще получалось так, что на путь этой всеобщей путаницы мы ступали все и довольные, и обескураженные — кто по своему выбору и склонности, кто по необходимости.

Вы, конечно, догадались, речь идет о дне всех незнакомцев.

Он не был закреплен за какой-нибудь определенной датой, как, например, День поминовения усопших или День святых великомучеников, несмотря на то, что в какой-то степени был связан с ними обоими. Никто не знал заранее, когда он наступит, даже накануне это оставалось тайной; но неизменно, когда этот день вдруг приходил, он вызывал страшный переполох.

Совсем иное дело — карнавальные празднества. Едва заканчивался один карнавал, как мы уже с нетерпением ждали следующего. К тому же любого легко было узнать в его маскарадном костюме: дочери хозяина «Пожара» всегда одевались арагонками, Ремихио, аптекарь, наряжал свое женское потомство турчанками, дочери «Руфино и брат» прилагали немислимые усилия, чтобы походить на японок. Все это считалось в порядке вещей и никого не удивляло. И на самом деле, что в этом особенного или странного!

Но представьте себе, что заседание муниципального совета открыл не сеньор алькальд, а Томас Нож.

Или что королевой красоты на конкурсе дам-благотворительниц вместо дочери Факундо, хозяина красильни, выбрали

бы Сириану, всем известную местную шлюху. Или что ваш аппендицит стал оперировать Куко Виньяс, хотя всем известно, что Куко встает из-за стола только затем, чтобы пересесть к другому столу, отнюдь не операционному. Или что председателем суда оказался Мертвый Петух, а его помощниками стали Каландрака и Ньико Гуарапета. И что бы вы сказали, если бы во главе банка Вуэльтабахо увидели Полтора Хуана?

Правда, такого пока не случалось. По крайней мере, точно такого; но все, что происходило в день всех незнакомцев, было близко к описанному, во всяком случае, следовало подобной логике и имело сходные последствия.

Возьмите какой-нибудь небольшой городок и в одну прекрасную ночь поменяйте всех его жителей; или, если хотите, поменяйте местами дома; или же придайте улицам новое направление, так чтобы сосед, который всегда жил на углу в начале улицы, очутился теперь на ее конце, потому что Королевская улица в таком случае начнется у кладбища и закончится около черепичного завода; попробуйте сделать это или что-нибудь иное в том же духе — и вы получите полное представление о дне всех незнакомцев.

Воцаряется полный беспорядок, такой, как в день, когда сорвалась с привязи Метафора. Выйти на улицу и не узнать соседа, с которым бок о бок прожил двадцать лет,— самое обычное дело. Почтальон при встрече с вами здоровается как никогда вежливо — и вы вдруг обнаруживаете, что у него другое лицо. Вы начинаете думать об этом лице, которое хорошо вам знакомо, однако совсем не похоже на лицо почтальона. Но тут ваши тревожные мысли прерывает полицейский, дружески похлопав вас по спине: он смотрит вам в лицо и сияет от удовольствия, что вы его не узнаете. То же самое происходит, когда вы просите сапожника поставить новую подметку на ботинки или когда вы покупаете марки, литр молока или пару рыбьих голов. Усевшись в кресло, вы успеваете сказать: «Фалеро, как всегда...» — и в этот момент замечаете, что склонившееся над вами лицо не имеет ничего общего с лицом цирюльника, который бреет вас всю жизнь.

И весь этот ералаш обычно длится не день и не два. Слу-

чается, что человек с внешностью консисторского педеля, закинув за спину связку цыплят, шагает по улице, зазывая покупателей громкими криками. Никто не удивляется, и меньше всех раскинувшийся в кресле-качалке благодушно улыбающийся сеньор с физиономией чиновника местного налогового управления.

Кто-то верно сказал, что дни всех незнакомцев, как и дни циклонов,— самое тяжелое время. Особенно когда изменения касаются нас самих.

Однажды я шел по улице, здороваясь, как всегда, с соседями по кварталу. Я был чрезвычайно вежлив, но не встречал ответного радушия со стороны прохожих. Удрученный подобным безразличием к своей особе, я шагал в новенькой форме почтальона, вникая в тайны почтового дела. Попробуйте-ка в таких условиях овладеть новой профессией.

Так продолжалось до тех пор, пока кто-то не всмотрелся в меня внимательно и вдруг удивленно воскликнул:

— Черт побери! Да ведь это же племянник Тибурсио!

Этот кто-то поймал конец спутанного мотка. А дальше оставалось лишь потянуть за него: я заменил почтальона Куэтара, Куэтар в это время вместо Фаруко торговал кокосовыми цукатами в сиропе, Фаруко поднялся до ранга чиновника пятого класса в министерстве общественных работ. И так далее до бесконечности: мы менялись друг с другом обязанностями, постами, назначениями, должностями...

Но в итоге мы покорно несли свою ношу, радостную или горькую, занимая место, отведенное нам неведомыми режиссерами,— место служащего или безработного.

В городке наступал прежний покой. Мы сживались с переменами. Мало-помалу мы начинали узнавать людей в их новых ипостасях и в конце концов через три-четыре года так привыкали к чужим ролям, будто ничем иным не занимались всю жизнь, а к тому моменту, когда мы окончательно осваивались, на пороге уже стоял следующий день всех незнакомцев.

Лучший в мире хоронильщик

Из всех хоронильщиков самым известным был Пичуле. Сейчас, когда я пишу этот рассказ, меня вдруг охватывает сомнение. Я заглядываю в словарь и убеждаюсь, что слова «хоронильщик» там нет. Однако, если вы приедете в наш город и спросите о хоронильщике, все сразу поймут, о ком идет речь. Так что, в общем, для беспокойства нет никаких причин.

Меня всегда восхищали лаконизм авторов словарей и справочников. Для меня же самым простым является самый длинный путь, а именно описание всего того, чем занимался Пичуле.

Обычно, едва забрезжит рассвет, он уже прибирает контору, сметает пыль с экипажей, пьет кофе, потом переписывает на отдельные карточки адреса из общего списка и приступает к исполнению своих обязанностей вестника скорби. В самый торжественный час церемонии мы видели, как он в своей униформе входит в часовню с венком в руках, а затем, также в полной униформе, надвинув на глаза шляпу, преисполненный достоинства ведет медленно и тяжело выступающего першерона,пряженного в траурный экипаж, который наводил на нас тягостные раздумья.

Если в более цивилизованных местах смерть представляют в виде безобразной женщины с косой в руках, то в моем городке (где безобразных женщин было предостаточно) никто никогда не видел косу; поэтому эта аллегория не производила на нас никакого впечатления. Но зато когда из-за угла показывался Пичуле, тотчас же возникала связанная с ним мрачная ассоциация: тот, у кого дома кто-нибудь из родных кашлял сильнее обычного, в страхе замирал на месте и, лишь

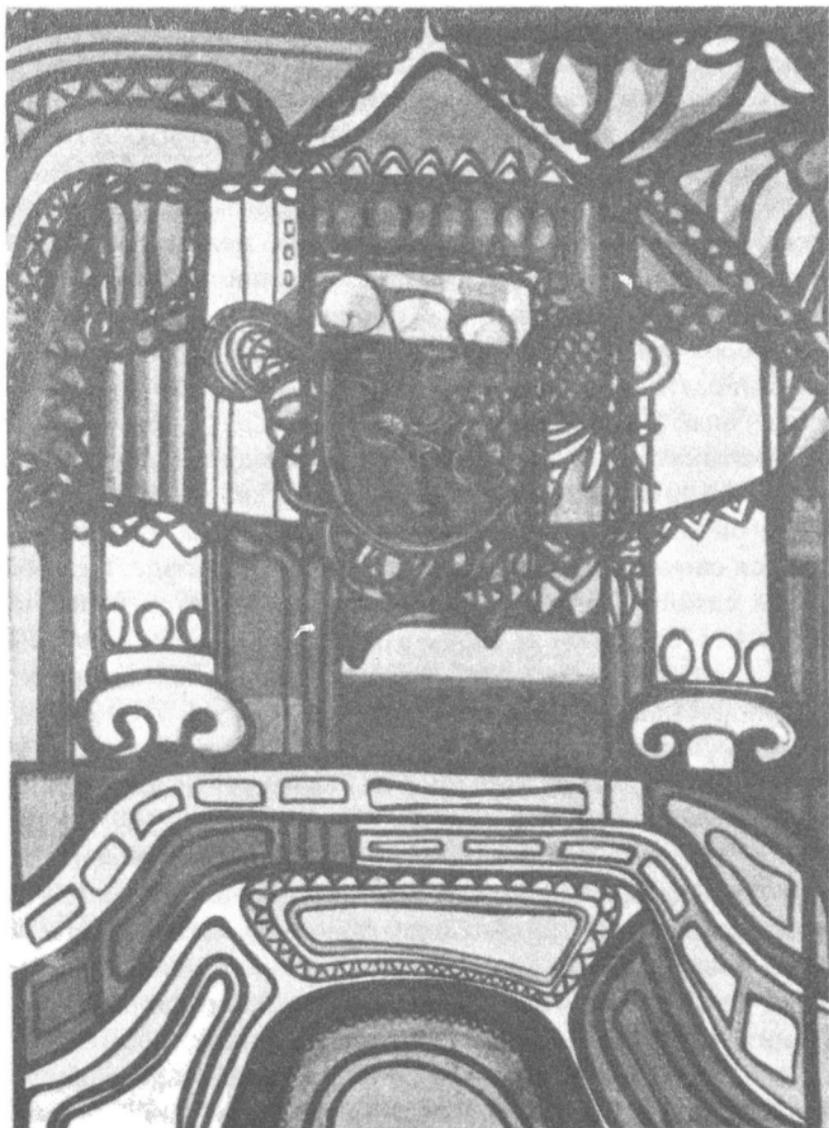
когда Пичуле проходил мимо, переводил дух, а если у него до этой встречи не было хорошего настроения, то теперь оно вдруг появлялось, как, по слухам, бывает на войне, когда человек испытывает невольную радость оттого, что пуля попала не в него, а в кого-нибудь другого.

Но ремесло хоронильщика, если говорить о нем в чисто профессиональном смысле, дело весьма деликатное. Любой словарь мог бы определить его так: «умение засекаать объект, оставаясь необнаруженным». Хоронильщику приходится собирать необходимую информацию, не показывая своей заинтересованности. Тут, пожалуй, важнее всего инстинкт, ну и, конечно, опыт, приобретаемый с годами. И в те моменты, когда инстинкт и опыт сплавляются в единое целое, хоронильщик становится истинным мастером своего дела, и тогда, куда бы он ни пошел, ноги сами несут его на ту улицу, где находится самый близкий к смерти человек в городе. Незаметно для себя самого Пичуле делался большим знатоком по части хронических болезней в своем городе. Кроме того, в нем со временем развивалась мгновенная и безошибочная реакция, как у спортсмена. Обнаружив на чьем-нибудь лице чуть заметные признаки посинения, он тут же отрубал:

— Бронхи бедного Абундио не вынесут и двух сильных дождей.

Говоря это, он не отрывал взгляда от земли, демонстрируя полную незаинтересованность, ибо хоронильщику не пристало уподобляться стервятнику, описывающему нетерпеливые круги над своей добычей. Обнаружить себя раньше времени значило бы загубить все дело. Ни секундой раньше — из-за уважения к чувствам болящего, ни секундой позже — из-за опасения конкуренции, — вот то труднейшее равновесие, которое должен был соблюдать Пичуле. И в тот момент, когда хоронильщик, до сих пор никем не замечаемый, чеканил с порога леденящим кровь голосом свой вполне естественный вопрос:

— Как себя чувствует сеньора? — все понимали, что пробил ее смертный час. И если домашний врач был в это время отвлечен чем-то посторонним, то, услышав голос Пичуле, он



Амелия Пелас. Интерьер с колоннами

опрометью бросался щупать пульс у пациентки, но тут же, покачивая головой, разводил руками, признавая свое бессилие.

Да, это и был самый важный момент. Остальное не выходило за рамки обычной рутины и требовало по сути лишь резвых ног. Все сводилось к тому, чтобы его похоронный агент наряду с соболезнованиями успел первым предложить свои услуги по организации траурной церемонии.

Действия должны были быть согласованными. Если дело происходило вечером, Пичуле находил похоронного агента в Миланском театре, ночью — у Камелии, за игрой в домино. Между ними существовало, что называется, хорошее зубчатое сцепление, совершенная гармония. Или, как говорил Пичуле, безупречная комбинация второй скорости и short stop*. Потому что, по понятным причинам, обращение с клиентом — одно дело, и совсем другое — профессиональный язык, связанный с конкретным делом. Те, кто зарабатывает на жизнь похоронами, воспринимают смерть как нечто живое, они с ней, что называется, на «ты», безо всякой торжественности. Поэтому Пичуле и его похоронный агент Монтесерин объяснялись между собой на особом жаргоне. Во время бейсбольного сезона они использовали спортивные термины.

— Хонрон! — говорил Пичуле, входя, и Монтесерин сразу соображал, что умерший принадлежал к избранному обществу.

Когда сезон кончался, их язык становился более прозаическим. «Сегодня едим фазана» — говорилось о самых выгодных похоронах. Если речь шла об умершем бедняке, Пичуле презрительно цедил сквозь зубы: «Пустая похлебка». Но чаще всего они прибегали к символическим намекам на те или иные особенности покойника, незначительные на взгляд профана, однако важные для их ремесла: — Поймали толстяка!

А когда день дарил им больше чем одно дело, удовлетворение по этому поводу выражалось более экспрессивно:

— Сорвали двойной куш, Монтесерин!..

Думаю, что теперь вам стало ясно, каким нелегким делом за-

* Резкого торможения (англ.).

нимался Пичуле, и не так уж трудно догадаться, что подобная профессия сопряжена со многими неприятностями и переживаниями. Мне не хотелось бы останавливать на них внимание, но об одном случае, особенно тяжелом, я должен рассказать.

Извлечь Монтесерина из Миланского театра не составляло никакого труда. Другой разговор — идти за ним к игорному дому Камелии. Монтесерин играл там двое надвое со своими соседями, мелкими торговцами, и ставкой служила всего-навсего чашечка кофе. По этой причине было трудно найти замену Монтесерину, и по этой же причине всякий раз, когда Монтесерин садился играть, а это случалось каждый вечер, участники партии начинали испытывать беспокойство, ибо в любой момент мог появиться Пичуле и возвестить, что пробили хит, если дело происходило во время бейсбольного сезона, или что взяли главный приз, если сезон уже кончился.

Пичуле догадывался, какую тревогу приносило его появление, и в силу своей природной деликатности, развитой и умноженной ремеслом, не мог не реагировать на такого рода вещи. И вот, с одной стороны не желая показаться навязчивым и бесцеремонным, с другой — ощущая неприязнь к себе игроков, он никогда не приближался к столу, за которым сидел Монтесерин. Прямо с улицы, не заходя во двор, он изрекал, стараясь быть как можно более кратким и выразительным:

— Монтесерин, цыпленок!

Партия тут же прерывалась. Игроки, конечно, понимали, что дело есть дело, но это не смягчало горечь разочарования.

Но вот что случилось в конце ноября, когда ночь выдалась такой тихой, что люди забыли о всех своих неприятностях. Сияющая луна посеребрила Королевскую улицу из конца в конец. Лунный свет, легкий ветерок, гулкие удары колотушки сторожа Куни, замиравшие в глубине ночи, — все навевало такой покой, что Монтесерин и его партнеры совершенно забыли, что в любую минуту может прийти хоронильщик и испортить игру.

Один Пичуле не поддался чарам ночи. Он был человеком

дела и знал, что и в такую ночь нельзя терять бдительность. К тому же на этот раз все складывалось не совсем обычно. Когда он отправился на поиски Монтесерина, его обуревали самые противоречивые чувства. В первый раз за много лет он шел не самым коротким, а, наоборот, самым длинным путем. Он сделал большой крюк и подходил к дому Камелии, не поднимаясь, как всегда, вверх по Королевской улице, а спускаясь по ней.

Монтесерин, играя в домино, садился обычно так, чтобы смотреть вниз по улице. Поэтому, как только Пичуле появлялся около заведения «Републикита», зоркие глаза агента сразу засекали его. Но на этот раз Пичуле пришел с другой стороны, он был чем-то угнетен и разговаривал сам с собой, будто боролся не только со своими чувствами, но и с привычными словами и формулами. Он не остановился, как всегда, в почтительном отдалении, а вплотную подошел к столу. Увидев его, Монтесерин не смог сдержать жест удивления. Пичуле был как никогда серьезен, не похож на самого себя; хотя и на этот раз он тоже не был слишком красноречив, но по крайней мере не скупился на слова. Его голос прозвучал торжественно:

— Черт бы нас побрал, Монтесерин! Мы сорвали премию в Асьенде: умерла твоя мать!..

Сказав это, он зашагал к похоронной конторе, потому что работа хоронильщика никогда не кончается.

Непревзойденный репортер

Демосфен Масола — в обиходе Чичипо — считался непревзойденным фоторепортером. Что бы ни случилось, говорили в редакции, первым на месте происшествия всегда окажется Чичипо со своим неизменным фотоаппаратом. Столкнулись два поезда? Будьте уверены, он уже бродит там, среди дымящихся обломков. Мальчик проглотил ложку? Лучшая фотография появится на первой странице «Беспристрастного», и эта фотография будет снята вечно бодрствующей камерой Демосфена Масолы, или попросту Чичипо.

Все уже давно привыкли к этому, и никому не приходило в голову, что в один прекрасный день все изменится. И меньше всех, конечно, такая мысль беспокоила самого Чичипо. Но в это утро, едва переступив порог, он услышал срывающийся на крик голос Шефа:

— Где сегодняшние фотографии?

Чичипо хотел что-то ответить, но вместо ответа выдохнул вопрос. Простодушно, как велосипедная камера выпускает воздух, он выдохнул безобидный, никого не задевающий вопрос:

— Фотографии?

Однако Шеф вышел из себя. А когда Шеф выходил из себя, он начинал по несколько раз повторять одно и то же. Вот и сейчас он твердил не переставая:

— Да, фотографии, фотографии, утренние фотографии... Разве я спрашиваю о чем-нибудь необычном? Где фотографии? Фотографии где?!

Но теперь Чичипо уже ясно сознавал, что ему хотелось бы ответить. Он слушал, как Шеф долбит про фотографии, и ему

становилось все труднее сдерживаться. Кровь угрожающе прилила к голове, и его прямо-таки распирало от желания возразить. Слова уже готовы были сорваться с кончика языка, но в последний момент он, к счастью, удержал их. И вместо того чтобы возражать, тихо и как бы раздумчиво, скорее для самого себя, чем для Шефа, пробормотал: «Ах, утренние фотографии...»

Вообще-то Шеф имел основания негодовать, нельзя было не признать этого. В особенности если учесть, что, как только он появился утром в редакции, ему дали указания срочно опубликовать в газете материал о террористическом акте. Покушение было нешуточное, с применением динамита. Взрывом снесло половину дома. Когда проживавший там высокопоставленный чиновник, услышав взрыв, бледный как мел, со вставшими дыбом волосами, одним прыжком выскочил из своей комнаты, он сразу очутился посреди улицы. Точнее — среди дыма, битых кирпичей и не осевшей еще известковой пыли.

Узнав о случившемся, Шеф тоже подпрыгнул в своем кресле. Потом швырнул телефонную трубку на рычаг и выкрикнул только одно слово:

— Чичипо!..

Не успело стихнуть его протяжное «о», как дверь приоткрылась и в кабинет с камерой в руках шагнул ас фоторепортажа, готовый, как всегда, немедленно приступить к делу.

Затем все шло своим чередом до некой черты, толщиной с волосок, где начинались те невидимые Шефу с его высоты подводные течения, камни и мели, свойственные каждой профессии, которые искусный капитан обходит, умело лавируя, до того рокового часа, когда судьба укажет на него перстом. В этой лежащей по ту сторону волоска незнакомой стране Шеф находился в положении чужеземца, и от него нельзя было добиться никакого толку. То, что произошло, вернее, то, чего, к счастью, не произошло, можно описать в двух словах: получив задание, Чичипо стремглав бросился исполнять его, оставляя за собой вихрь сметенных со столов бумаг. В его глазах зажегся огонь азарта и страсти, в этом огне можно бы-

ло различить и блеск путеводной звезды Чичипо, направляющей его во всех делах. Еще не смолкло эхо взрыва, еще не рассеялся черный дым, еще соседи, любопытные и представители власти лишь начинали собираться у места происшествия, а Чичипо с аппаратом в руках уже приготовился делать снимки.

Все вокруг было разбито вдребезги. Взрывом уничтожило часть дома — от входной двери до следующей секции. Глаз объектива отыскивал ракурс, который мог бы дать читателю представление о подлинных размерах катастрофы: на первом плане — опаленные взрывом экзотические садовые растения, чуть подальше — заваленные кирпичом останки шикарного автомобиля, затем кусок чудом сохранившейся стены, а в глубине, вплоть до второй секции дома, ставшей теперь первой, — обширное пространство в развалинах, напоминающее бывший танцевальный зал. Чичипо, как всегда, с первого же взгляда нашел выгодный ракурс. Но прежде чем снимать, он посмотрел вверх, чтобы определить интенсивность света, и пока его голова вертелась из стороны в сторону, отыскивая солнце, руки достали фотоэкспонетр из футляра и начали поворачивать его в такт движению головы.

Как тореадор, готовящийся нанести последний удар, Чичипо Масола был глух к шуму окружающей его толпы. Отыскивая подходящее освещение, он не отрывал глаз от тоненькой стрелки экспонометра, которая говорила ему, что оптимальный вариант еще не найден.

Неожиданно чья-то железная рука сжала его запястье, и он застыл как вкопанный. Эта же рука, заросшая, словно звериная лапа, вывернула ему кисть, и экспонометр оказался прямо перед усами Салюстиано Ромагоса, капрала национальной полиции. Чичипо, он же Демосфен Масола-и-Фраго, как по всей форме принято писать в похоронных извещениях, оказался лицом к лицу с душителем демократии. Между тем Салюстиано вдруг заговорил громовым голосом. При этом он не обращался ни к Чичипо, ни непосредственно к кому-либо из окружающих; хрипло и торжественно он вещал прямо в экспонометр.

— Уважаемые радиослушатели,— ораторствовал он и внимательно следил за колебанием стрелки,— с вами говорит капрал Салюстиано, который с полной ответственностью заявляет, что подобные действия, нарушающие порядок и угрожающие жизни мирных граждан, а также представителям определенных кругов, будут со всей решительностью пресекаться властями, стоящими на страже...

Когда у Чичипо от боли заплясали перед глазами огненные круги, скрывшие от него внушительную фигуру капрала, прозвучали наконец заключительные слова Салюстиано Ромагоса:

— Хочу поблагодарить нашу популярную радиостанцию за предоставленную мне возможность обратиться к гражданам города...

Железная рука разжалась, и Чичипо оказался на свободе. Но тут его глаза наткнулись на подозрительный взгляд Салюстиано, и сразу возникло такое чувство, словно по спине провели куском льда — вдоль всего позвоночника до самого копчика. Он вспотел, словно дело было в августе. Немигающие глаза капрала смотрели на него испытующе. В их хищной желтизне кроме вменяемой законом неколебимой твердости Чичипо рассмотрел искры беспокойства — его выдавала и легкая морщинка, пробежавшая по лбу блюстителя порядка, будто тот смутно почувствовал какой-то подвох. Хорошо, что Чичипо обладал мгновенной реакцией. Будто вспышка магния, его озарила догадка; не отрывая глаз от капрала, он тоже поднес экспонометр ко рту и приподнятым тоном, стараясь как можно больше походить на диктора, заговорил с профессиональным апломбом:

— Вы только что прослушали сообщение исключительной важности, с которым перед нашим микрофоном выступил капрал Салюстиано Ромагоса из национальной полиции, живое воплощение столь свойственного ему полицейского усердия...

Уже опуская экспонометр, он в последний момент вспомнил сакраментальные слова, которыми репортеры, как правило, заканчивают свои передачи, переходя на обратную связь

со студией; идя ва-банк, собрав все свое присутствие духа, он снова поднес экспонометр к губам и произнес заключительную фразу:

— Прием!..

Но удовлетворенный капрал уже отошел в сторону. Тут Чичипо перехватил недоуменный взгляд помощника и, не дав ему времени раскрыть рта, как ни в чем не бывало распорядился:

— Собирай все и сматываемся к чертям собачьим!

Так они и сделали.

Поэтому-то полчаса спустя, услышав назойливые вопросы Шефа, он почувствовал, что кровь угрожающе прилила к голове. Однако он сумел сдержать бурный поток рвущихся с губ слов и, подавляя в себе желание зарычать как голодный пес, у которого отнимают кость, процедил сквозь зубы:

— Ах, фотографии? Они засветились. Можете себе представить? Засветились!

Но голос Шефа не смягчился ни на йоту:

— Что вы тут плетете? Засветились? Все засветились?

— Все!

И впервые в жизни, выходя из кабинета Шефа, Чичипо оглушительно хлопнул дверь.

Содержание

5 *Хулио Травиесо. Всегда в пути*

Часть I

- 11 Возвращения
52 Одно из этих путешествий
60 В смертный час
69 Окно на лужайку

Часть II

- 87 Решения дона Хусто
91 Моряк Перфекто
97 Вильольдо и его прошлое
101 О том, как Робертико едва не женился
107 С цирком приходит несчастье
113 День всех незнакомцев
116 Лучший в мире хоронильщик
122 Непревзойденный репортер

В книге использованы произведения кубинских художников.
На обложке — картина Эдуардо Абелы «*Крестьяне*».

ГУСТАВО ЭГУРЕН
ОКНО НА ЛУЖАЙКУ

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *М. Канторович*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 857

Сдано в набор 8.07.83. Подписано в печать 15.11.83. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,2. Уч.-изд. л. 5,63. Тираж 50 000 экз. Заказ № 591. Цена 70 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.



ГУСТАВО ЭГУРЕН

(родился в 1925 году) — кубинский писатель, прозаик, в творчестве которого, по словам известного поэта Кубы Элисео Диего, счастливо сочетаются "литературное мастерство, изобретательность, воображение и глубина содержания". Дебютировал в 1957 году. Известность писателю принес роман "Ла Робла", опубликованный в 1967 г. Г. Эгурен — автор сборников рассказов "Кто-то стучится в дверь", "Ящерицы не едят сыра" и др. На русский язык переводилась повесть Эгурена "Тени на белой стене".